

АВТОБИОГРАФИЯ
ЮРИЯ НАГИБИНА
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ



Юрий Маркович Нагибин
Тьма в конце тоннеля (сборник)
Серия «Времени живые голоса (Рипол)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=16379291
Тьма в конце тоннеля / Ю. М. Нагибин: РИПОЛ классик; Москва; 2015
ISBN 978-5-386-08149-2

Аннотация

В этом томе лучшие образцы прозы Юрия Нагибина разных жанров. «Встань и иди» – повесть об отце и о беспощадно жестоком мире его предвоенного детства. «Ночной гость» – рассказ чеховских интонаций и полутонов. Рассказ, по которому был поставлен фильм с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. «Терпение» и «Поездка на острова» о тех, кто нашел любовь и сразу ее потерял, о жутких гримасах времени, о воле и мужестве, о совести и разнузданности. У Юрия Нагибина никогда не было иллюзий относительно времени и места: он четко фиксировал духоту, бездарность, конформизм, разрушение и «тяжкую одурь» общества. Но когда в 90-е годы он вновь увидел зловещие черты фашизма, юдофобии, и прочие признаки «советской скверны», появилась повесть «Тьма в конце тоннеля».

Содержание

Автобиография	5
Встань и иди. Повесть об отце	14
1. Несостоявшееся путешествие	14
2. Как это случилось в первый раз	16
3. Иркутск	19
4. Саратов	26
5. Вместе и врозь	31
6. Страх	35
7. Егорьевск	37
8. Ленинград	40
9. Дорога на север	42
10. Встреча	44
11. День, прожитый вместе	50
12. Отъезд	55
13. Через годы	57
14. Новая встреча	59
15. Пеллагра	62
16. Голубое дерево	65
17. Под небом Рохмы	68
18. Близкие люди	71
19. «Каморки»	75
20. В Москве	80
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Юрий Маркович Нагибин

Тьма в конце тоннеля

© Нагибин Ю. М., наследники, 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

* * *

Автобиография

Когда выходит очередная книга беллетристики, нет никакой нужды предварять ее автобиографическими сведениями. Какое дело читателю до личности и обстоятельств жизни автора, если ему предлагают вымышленный или воссозданный творческим воображением мир? Иначе обстоит с собранием сочинений. Здесь читатель должен располагать хотя бы минимумом сведений об авторе, знать, что ли, подоплеку, иначе ему непонятно будет пристрастие к определенным проблемам и безучастие к другим, неясны причины заинтересованности в тех ли иных явлениях жизни и культуры и умалчивания других, не менее значительных. И, вообще, окажется слишком много тумана. Вот почему я и решил коротко рассказать о себе.

Я родился 3 апреля 1920 года в Москве, близ Чистых прудов, в семье служащего. К началу тридцатых мои родители расстались, и мать вышла замуж за писателя Я. С. Рыкачева.

Мой отец был несчастлив. Почти всем его последующим существованием управляла чужая воля, она определяла ему место пребывания, род занятий, распорядок дня. В первый раз его посадили в 1928 году. До своей смерти в 1952 году он жил либо в тюрьме, либо в лагере, либо в ссылке. Он разделил участь многих интеллигентов. Очень долго единственной памяткой об отце был Георгиевский крестик, полученный им в мировую войну. Прожив свою невеселую одинокую жизнь, он умер в 1952 году в маленьком городке Кохме, где центральная площадь с розовой каланчой носит, невесть с чего, имя основателя ненужного языка эсперанто, доктора Зимменгофа. А в середине пятидесятых выяснилось, что отец вовсе не заслуживал такой судьбы.

Отец в моих рассказах лицо полувывмышленное, намечтанное, притом что живой человек был куда лучше. Но я ещё напишу о нем.

Я обязан матери не только прямо и твердо унаследованными чертами характера, но и основополагающими качествами своей человеческой и творческой личности, вложенными в меня еще в раннем детстве и укрепленными всем последующим воспитанием. Эти качества: умение ощущать драгоценность каждой минуты жизни, любовь к людям, природе и животным.

В литературном научении я всем обязан отчиму, и если плохо воспользовался его уроками, то это целиком моя вина. Он приучил меня читать только хорошие книги. В конце двадцатых – начале тридцатых годов прошло странное поветрие: в школах появились затрепанные, с подклеенными страницами романы Чарской и Вербицкой, которыми зачитывались не только девчонки, но и представители сильного пола, охладев на время к Сюркфу и Нику Картеру. Бодлер говорил: «Бог избавляет своих любимцев от бесполезного чтения». Меня избавил от бесполезного и дурного чтения отчим. Жюль Верн, Вальтер Скотт, Диккенс, Дюма, русские классики и, конечно, «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», «Гулливер» – литература моего детства. Позже к ним присоединились Шекспир, Шиллер, Гёте, Бальзак, Стендаль, Флобер, Мопассан. А затем отчим открыл мне Марселя Пруста, Бунина, Андрея Платонова. В ту пору по разным причинам эти авторы, оставшиеся для меня наряду с Достоевским и Лесковым первыми среди равных, были малодоступны. Отчим научил меня думать о прочитанном. Я с раннего детства привык жить в кругу литературных интересов, но при этом вовсе не напоминал того писательского сынка, который спрашивал родителей: «А бывают на свете неписатели?»

Мы жили в хорошей, коренной части Москвы, в окружении прекрасных старинных церквей, впоследствии беспощадно уничтоженных. Я гордился своим домом. Прежде всего, он выходил в три переулочка: Армянский, Сверчков и Телеграфный; я любил озадачивать людей своим тройным адресом. Кроме того, он обладал двумя дворами. И наконец, в его

подвалах помещался крупнейший винный склад Москвы. «Тырить» бутылки было таким же обязательным, освященным традицией промыслом для всех поколений мальчиков нашего дома, каким в иных селах являлось извозное дело или иконопись. Основное население дома составляли «печатники», как тогда почему-то называли всех без разбору типографских работников. Но в малом количестве тут сохранились и впавшие в ничтожество буржуи: «бывшие люди» и нэпманы. Дому обязан я рано проснувшимся социальным чувством, ибо, к великому моему горю, сверстники долго преследовали меня кличкой «буржуй». Мы жили более чем скромно, но даже сытенький, нарядно одетый сын завмага Женька Мельников кричал мне смертельно оскорбительное слово своим вечно набитым ветчиной и пряниками ртом. Все же со мной дружили, ибо вечная потребность самооправдания вынуждала меня к особой лихости во всех дворовых предприятиях. К тому времени, когда я понял, что слово «буржуй» отмечает вовсе не мнимую зажиточность, а мое непролетарское происхождение, жестокая кличка отпала.

Не меньше дома я любил нашу большую коммунальную квартиру. В ней жило несколько семей, в том числе строгая, «идейная» семья Рубцовых, где рослые красавцы Фомочка и Мотя с пулеметной частотой производили на свет красавиц дочерей.

Здесь жила также сестра моей няньки¹ Веры Ивановны (Верони), добрая, милая Катя, то и дело с веселым отчаянием хоронившая своих мужей и дававшая пристанище многочисленной деревенской родне, что наезжала в Москву по разным нуждам. Катин племянник – маленький, пучеглазый, загадочный Янька – страшил меня рассказами про упырей, водяных, леших и ведьм, которых видимо-невидимо в его родной деревне Конуры на Рязанщине. Ведьминское очарование Конур было настолько велико, что мы раз и навсегда изменили подмосковным дачам ради деревни. Правда, жили мы не в Конурах, а по соседству, в селце Внуково. Оттуда родом была моя нянька, там обитал ее брат Яков в избенке с земляным полом, стоящей на краю дивного яблоневого сада. Избенка эта постоянно горела. Сгорела она и в дождливое лето нашего первого приезда, пылая среди темной рязанской ночи мощно и ярко, как Помпеи на картине Брюллова.

В соседней деревне Акулово жила старшая сестра Верони, иконописно красивая Саша, с мужем и детьми. Павел Николаев, так уважительно звали Сашиного мужа, был самый справный хозяин во всей округе. Такими же работащими, ладными и ухватистыми были его дети. У Павла Николаева ходили в стаде две коровы, а в стойле стояли две лошади: кобыла и мерин. В двадцать девятом году на моих глазах его раскулачили. Эта ночь, когда ревела скотина, плакали дети, молчали Павел Николаев и Саша, навсегда осталась в моей памяти. После выхода фильма «Председатель» литературные стражи, почитающие своим призванием не подпускать чужаков к сельской калитке, спрашивали меня иронично: давно ли я так заинтересовался деревней? Давно, с той самой ночи...

И мать, и отчим надеялись, что из меня выйдет настоящий человек века: инженер или ученый в точных науках, – и усиленно пичкали меня книгами по химии, физике, популярными биографиями великих ученых. Для их и собственного успокоения я завел пробирки, колбы, какие-то химикалии, но вся моя научная деятельность сводилась к тому, что время от времени я варил гуталин ужасного качества. Впрочем, это позже...

До восьмилетнего возраста всем, желавшим знать, кем я хочу стать, когда вырасту, я отвечал: агентом МУРа². Я не знал, что это такое, но мне нравилось мужественная звучность этого словосочетания. В восемь лет, пережив с необыкновенной глубиной и взволнованно-

¹ Окружающие называли Веру Ивановну моей бабкой, хотя мы не были в родстве. Но Вера Ивановна была долголетней подругой моего деда-врача, рано овдовевшего. Она наотрез отказалась стать его женой и даже числиться ею. Она вела дом, будучи в нем «за все». Сама же упорно называла себя моей нянькой. Пусть так и останется. О ней у меня написано много – с горячей и благодарной любовью.

² Полицейским.

стью эпопею по спасению Нобиле, я хотел стать Амундсеном или Чухновским. В первом меня привлекала красота его гибели ради спасения недруга, во втором – блистательная удачливость подвига.

Через год я неистово увлекался «Тремя мушкетерами», не столько романом, сколько идеей дружбы, так обаятельно воплощенной в его героях. Это увлечение на несколько лет окрасило мою жизнь, я жил в двух образах: обычного московского школьника и д'Артаньяна. А мои друзья Павлик, Борька и Колька стали соответственно Атосом, Портосом и Арамисом. Впрочем, Арамис оказался образом составным, в какое-то время Колька уступил место Осе Роскину. У нас были мушкетерские плащи, шляпы с перьями, шпаги с красивыми эфесами. Но главное не в бутафории, эти друзья моего детства, отрочества, юности дали мне сполна то, что Экзюпери называл «золотом человеческого общества». Судьба моих друзей была трагична: Павлик и Ося погибли на фронтах Отечественной войны, Колька – в Освенциме. Мы с Борисом, отвоевав, не смогли вновь наладить дружбу, слишком остро чувствуя рядом с собой зияющую пустоту.

Долгое время я, уже достаточно взрослый парень, верил, что всю жизнь проношу шляпу с пером и мушкетерский плащ. Но в тринадцать лет я без боли и сожаления расстался с этими ребяческими мечтами. Во мне проснулось сердце, я влюбился с девушку старше меня на два года и как бы перешел душевно в другой «вес». Любовь моя, как обычно бывает с первой любовью, оказалась неудачной, и я всецело предался спорту и общественной работе. Учился я на одни пятерки – главным образом потому, что не чувствовал особой склонности ни к одному предмету.

Вот тут и наступила пора варки гуталина и смутной, тщательно таимой от всех неуверенности, что я действительно стану инженером.

Зато все уверенней я чувствовал себя на футбольном поле. Тогдашний тренер «Локомотива» Жюль Лимбек³ предсказывал мне большое будущее. Он обещал ввести меня к восемнадцати годам в дубль мастеров. Но моя мать не хотела смириться с мыслью, что она в муках рожала и воспитывала голодным молоком левого хавбека или правого инсайда. Видимо, под ее нажимом отчим все чаще убеждал меня что-нибудь написать. Да, вот так искусственно, не по собственному неотвратимому позыву, а под давлением извне, началась моя литературная жизнь.

Я написал рассказ о лыжной прогулке, которую мы предприняли всем классом в один из выходных дней. Отчим прочел и больше не просил меня писать. Конечно, рассказ был плох, и все же я с полным основанием считаю, что уже в первой попытке определился мой столбовой литературный путь: не придумывать, идти впрямую по жизни, копаться в материале действительности, стремясь найти в ней как можно больше.

Я отлично понял молчание отчима и не пытался оспорить уничтожающую оценку, скрывавшуюся за этим молчанием. Но писание захватило меня. С глубоким удивлением обнаружил я, как от самой необходимости перенести на бумагу несложные впечатления дня и черты хорошо знакомых людей странно углубились и расширились все связанные с этой немудреной прогулкой переживания и наблюдения. Я по-новому увидел моих школьных товарищей и нежданно сложный, тонкий и запутанный узор отношений. Оказывается, писание – это постижение жизни...

Я стал писать, но уже тайно от своих близких. Мне захотелось разобраться в себе, понять наконец, с кем сосуществую вот уже семнадцать лет и кто не порадовал меня ни одним самостоятельным решением, выбором, проступком. Это была не отвлеченная, а жизненно важная задача, я должен был найти себя. Повесть-рассуждение, которую я не просто писал ночи напролет, а как-то извлекал, изживал из себя, так и называлась «Я». Тут не было

³ Он был французом.

нескромности, ибо злосчастное «Я» подвергалось беспощадному анализу и жесточайшему осуждению. Помимо же всего, это был шаг на пути к взрослости, которую, как мне порой кажется, я в общем-то миновал, сразу перешагнув в старость.

Однажды я «забыл» на столе свою писанину, и отчим понял это «приглашение к танцу». Он прочел незаконченную повесть и сказал:

– Видимо, ты всерьез занедужил этой болезнью. Пиши. Если, на худой конец, у тебя не окажется таланта, станешь литературным критиком.

Начался новый этап литературной учебы. Отчим доводил меня до отчаяния своей требовательностью. Порой я начинал ненавидеть слова, но оторвать меня от бумаги было делом мудреным.

Все же, когда я закончил школу и получил аттестат с золотой каемкой, дающей право на поступление без экзаменов в любой вуз, мощная домашняя давящая снота пришла в действие. Вместо литфака я оказался в Первом Московском медицинском институте. Сопrotивлялся я долго, но не смог устоять перед примером Чехова, Вересаева, Булгакова. Оказывается, путь в литературу идет через анатомичку.

По инерции я продолжал старательно учиться, а учеба в медвузе труднейшая, требующая, помимо всего, бесконечной зубрежки латинских терминов. Ни о каком писании теперь и речи быть не могло. Я дотянул до первой сессии, успешно начал сдавать экзамены, и тут меня, как не раз в жизни, подвела женщина. В то время как все студенты на практике по анатомии препарировали части сухого мужского тела, я получил женскую ногу с толстой жировой прослойкой. Освобождая мышцы от жира, я изрезал фасцию – тонкую пленку, заключающую мышцы словно в чехол. У меня не приняли зачета, впервые за все годы учебы я провалился. Это еще более охладило меня к медицинскому институту.

И вдруг среди учебного года открылся прием на сценарный факультет киноинститута. Я ринулся туда. Двух троек, полученных на спецэкзамене, оказалось достаточно, чтобы пройти по конкурсу. Кстати сказать, единственная соискательница, удостоенная двух пятерок, сейчас работает модельершей.

Итак, я совершил впервые в жизни свой поступок. В общем-то не очень умный. Вместо того чтобы приобрести нужную и благородную специальность, поработать какое-то время врачом и лишь затем «сойти в поэзию», я двинулся по пути ранней литературной профессионализации. Учеба в этом довоенном ВГИКе была легкая, вернее сказать, ее почти не было, зато времени для писания рассказов, очерков, рецензий и статей – сколько угодно.

ВГИК я так и не кончил. Через несколько месяцев после начала войны, когда последний вагон с институтским имуществом и студентами ушел в Алма-Ату, я подался в противоположную сторону. Мне бы очень хотелось сказать, что и это был мой поступок, но, к сожалению, автобиография – это не то, как ты хотел бы прожить жизнь, а то, как ты ее прожил на самом деле. Мое намерение стало поступком лишь после того, как мать сказала мне, покусывая губы: «Ты не находишь, что Алма-Ата несколько далека от тех мест, где решаются судьбы человечества?»

Довольно порядочное знание немецкого языка решило мою военную службу. Военкомат передал меня в распоряжение ПУРа, а Политическое управление Красной армии направило в седьмой отдел Волховского фронта. Седьмой отдел – это контрпропаганда.

Но, прежде чем говорить о войне, расскажу о двух своих литературных дебютах. Первый, устный, совпал по времени с моим переходом из медицинского института во ВГИК.

Я выступал с чтением рассказа на вечере начинающих авторов в клубе писателей. Кроме меня, там читали Иван Меньшиков, ставший впоследствии большим моим другом, и поэт Иван Бауков. Оба выступили успешно, особенно Бауков. Меня освистали, почти бурно. Рассказ мой был о том, как семнадцатилетний парень хочет добиться любви взрослой женщины, но отступает, поняв свою жалкую незрелость. Впрочем, конец едва ли кто

слышал из-за смеха, издевательских и негодующих выкриков. Необычной и раздражающей оказалась сама тема рассказа: начинающему автору приличествовало прочесть рассказ о пограничнике с собакой или об ударном труде. Поначалу меня ошеломила не сама брань, а то, что отчим, которому я свято верил, мог допустить меня к выступлению с подобной макулатурой. Ругали меня не только студенты литвуза и члены литобъединения Бабеля, но и почтенные писательницы: Анна Караваева, Валерия Герасимова, Агния Барто, которые были признаны, имениты, широко известны. «Это какая-то чувственница!» – сказала о моей героине Анна Караваева, и я подумал о самоубийстве. А затем случилось нежданное-негаданное. Председательствующий на вечере Валентин Петрович Катаев вдруг покраснел и сказал резко: «Ну, хватит играть его костями. Одаренный человек прочел не то, что следовало, с каждым бывает!»

Честно говоря, я понял, что речь идет обо мне, лишь по дружному возмущению аудитории. И тут прозвучал насмешливый голос: «А ведь рассказ-то хороший!»

В дверях стоял Юрий Карлович Олеша. Наступила тишина и растерянность. Я был спасен. Дело не в том, что мнение Олеси значило больше катаевского, но Юрий Карлович в ту пору никогда не появлялся на литературных вечерах и в воображении молодых был овеян каким-то легендарным туманом. Потом о рассказе остроумно, весело и тепло говорил Михаил Юрьевич Левидов. И сейчас, по прошествии целой жизни, у меня закипают слезы в горле, когда я вспоминаю, как добры оказались ко мне эти крупные писатели.

А через год в журнале «Огонек» появился первый мой рассказ «Двойная ошибка»; характерно, что рассказ был посвящен судьбе начинающего писателя. Мартовскими, грязно замешанными улицами я бегал от одного газетного киоска к другому и спрашивал: нет ли последнего рассказа Нагибина?

Первая публикация ярче светится в памяти, чем первая любовь.

...Волхонский фронт был трудным фронтом. Неимоверная сложность его задачи прорвать извне кольцо ленинградской блокады усугублялась тем, что наступление велось на Чудово – Любань, то есть там, где всего плотнее и эшелонированнее была немецкая оборона. Не случайно, после многих горчайших неудач прорыв был осуществлен совсем в другом месте, под Мгой – Сенявином, где лишь узкая полоска отделяла Волхонский фронт от Ленинградского.

2-я ударная армия с тяжелейшими боями прорывалась к Мясному бору, чтобы там попасть в окружение и полечь в приволховских лесах и болотах. Я был прикреплен по линии 7-го отдела к этой армии, ездил туда для инструктажа, сбора трофейных материалов, выпуска оперативных листовок, адресованных полкам и дивизиям противника, с которыми в данный момент велись бои. Ездил я туда также с радиопередвижкой, позволявшей непосредственно проводить десяти-, пятнадцатиминутные передачи для войск противника. Затем машину обычно засекали минометы или полевые орудия, и надо было утекать. Команда радиопередвижки во главе с воентехником Лавриненко и сменившим меня диктором, старшим лейтенантом Строгановым, погибла под Мясным бором.

Если в Малой Вишере, где находилось политуправление, фронтовые впечатления исчерпывались непрерывной бомбежкой и обстрелом с воздуха, разбором всевозможной немецкой письменности: от оперативных документов до личных писем погибших солдат – это называлось изучением противника, работой в газете на немецком языке, – то поездки на передовую неизмеримо расширяли круг наблюдений. Здесь, в ротах, где мы обучали добровольцев-рупористов, на НП батальонов и полков во время боев местного значения, в освобожденных деревнях, куда надо было войти в числе первых, чтобы опросить свежих, не научившихся хитрить пленных, война открывалась во всей своей жестокой серьезности. Участвовать в бою, стрелять по зримому противнику мне доводилось всего один раз. Мы

должны были взять, но так и не взяли воображаемую (стратегическую) высоту. Этот тяжелый, неудачный бой описан в ряде моих рассказов.

Постепенно у меня набралась книжка военных рассказов о связистах и шоферах, переводчиках и политработниках, пехотинцах и фронтовых хозяйственниках. Надо сказать, что перед войной издательство «Советский писатель» намеревалось выпустить сборник моих рассказов, я рад, что сборник этот не вышел. Право печататься дала мне война, все-таки первый мой сборник «Человек с фронта», вышедший в «Советском писателе» в 1943 году, содержал крупницы подлинного опыта, незадаром давшегося.

В ноябре 1942 года в связи с расформированием газет для войск противника меня перевели на Воронежский фронт в 7-е отделение ПО 60-й армии на ту же должность, пышно именовавшуюся «инструктор-литератор». Здесь я пробыл недолго – месяц с небольшим. Мне крупно повезло – дважды подряд меня контузило. В первый раз во время рупорной передачи из ничьей земли, второй раз – на базаре в маленьком городке Анне, куда меня направили в госпиталь. Я едва успел выменять у какой-то бабки стакан варенца на катушку ниток, как откуда-то вынырнул немецкий «горбыль», скинул одну-единственную бомбу, и я не попробовал варенца. Меня отрыли, привели в сознание и отправили в Москву.

Я долго болел, а по выздоровлении обнаружил, что путь на фронт мне заказан даже в качестве военного корреспондента. На мое счастье, газета «Труд» получила право держать трех штатских военкоров, то есть не подлежащих утверждению ПУРа. Я работал в «Труде» до конца войны. Мне довелось побывать в Сталинграде в самые последние дни битвы, когда «дочищали» Тракторозаводский поселок, вновь под Ленинградом, затем при освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса и на других участках войны. Ездил я и в тыл, видел начало восстановительных работ в Сталинграде и как там собрали первый трактор, как осушали шахты Донбасса и рубали обушком уголек, как трудились волжские портовые грузчики и как вкалывали, сжав зубы, ивановские ткачихи...

Помимо газетных очерков, впечатления этих поездок воплотились в рассказы, составившие сборники: «Большое сердце», «Две силы», «Зерно жизни». А затем все виденное и пережитое тогда вернулось ко мне в новом образе, и я снова стал писать о Волге и Донбассе военной поры, о Волховском и Воронежском фронтах и, наверное, никогда не рассчитаюсь до конца с этим материалом.

После войны я начал жизнь профессионального литератора. Еще в марте 1942 года, когда я был на Волховском фронте, меня заочно приняли в Союз писателей. Произошло это с идиллической простотой. На заседании, посвященном приему в ССП, покойный Леонид Соловьев прочел вслух мой военный рассказ, а покойный А. А. Фадеев сказал: «Он же писатель, давайте примем его в наш союз...»

Первое время я много ездил по стране и писал много очерков и рассказов. Особенно значительной и щедрой на впечатления была поездка по Курщине, длившаяся почти все лето. Год назад засуха опалила курскую землю, машинный парк с МТС⁴ был уничтожен. Пахали на коровах, а то и на себе, затем на полях появился щадровский сеятель с лукошком, убирали хлеб косами и серпами; щи варили из крапивы, кислая запущенка считалась лакомством. И вдруг, будто оазис в пустыне, деревня Черкасские Конопельки, возле Суджи, колхоз «Луч», зажиточный, сытый, звенящий песнями, а в нем председательница Татьяна Петровна Дьяченко! Малограмотная, с натугой «разбирающая» газету, безмерно талантливая в каждом крепко поставленном слове, в каждом выразительном, картинном жесте, в каждом решении, за которым молниеносный охват тех или иных противоречивых сложностей. Эта пожилая, грузная, с ласково-грозными глазами женщина была от бога организатором, трибуном, вожаком. Потом я писал о ней напрямую и косвенно, наделяя терпким ароматом ее личности дру-

⁴ Машино-тракторная станция.

гих героев, она была так богата, что ее на многих хватало; неожиданно для меня самого она прорвалась в Егора Трубникова – председателя, хотя прямым прообразом был К. П. Орловский. Наиболее полно образ Татьяны Петровны воплотился в Крыченковой, героине повести и фильма «Бабье царство», пьесы «Суджанские мадонны», оперы «Русские женщины» Кирилла Молчанова.

В эти годы мне дано было счастье близкого видения Андрея Платонова. Он дружил с моими родителями, часто бывал у нас, а со мной ездил на Ваганьковское кладбище, где, сидя у могилы его безвременно умершего, красивого, одаренного и несчастного сына, мы распиливали четвертинку. Платонов говорил так же мощно и неповторимо, как и писал. Говорил он о многом: о Пушкине и Горьком, Грине и Хемингуэе, Шпенглере, Фрейде, Павлове, а еще о паровозах, русской сказке, о войне и человеческом одиночестве, но никогда не говорил о «литературных делах» и вроде бы не подозревал, что они существуют. Он был очень сильным спорщиком, но порой, наскучив возражениями противников, задорных и ему неравных, давил их не новыми доказательствами, а эмоциональной вспышкой боли, усталости и насмешки.

Я ему долго подражал, вернее, пытался подражать. Целый период моей литературной учебы состоял в том, что отчим вытравлял Платонова из моих фраз. Андрей Платонов знал об этой борьбе и был целиком на стороне отчима. Когда один ленинградский литератор в рецензии на мой сборник написал: «Нагибин, как и его учитель А. Платонов, наивно полагает силу литературы в слове», он, даже не улыбнувшись великолепию этой формулировки, сказал с досадой: «Какой я учитель! У меня нельзя учиться. Как стал на меня чуть похожим, так и сгинул». Я оценил этот совет...

Конец сороковых – начало пятидесятих годов – наиболее трудная пора в моей литературной жизни. За пять лет я издал всего один тощий сборник, к тому же бедный художественно. Я был в растерянности. Более удачные, а следовательно, более сложные, острые рассказы отвергались, а проникало в печать лишь худшее из написанного, и я начал утрачивать представление о том, что в литературе хорошо, а что плохо. Андрея Платонова уже не было. Кругом разруганный – и за чистейший, трогательный рассказ «Семья Иванова», и за нежные сказки о Финисте – Ясном Соколе, и за мудрые рассказы о войне, – Платонов лег в землю рядом с сыном. Огромный, добрый, наивный, вечно воодушевленный Леонид Соловьев угодил в лагерь. Отчим, сам переживший душевный кризис, к тому же тяжело болевший, твердил одно: «Старайся писать как можно лучше, все остальное придет».

Я внял этому несколько беспредметному совету и написал рассказ «Трубка», ставший наряду с «Зимним дубом» едва ли не самым популярным из всего мной написанного⁵. Читательский отклик был на редкость горяч и дружен. Собственно говоря, лишь с появлением «Трубки» изведаль я то странное, безмерно волнующее чувство, что у тебя есть читатель. Но в «Литературной газете» «Трубку» зверски изругали. И я еще больше запутался. Меж тем приближался 1953 год...

С этого года начинается наиболее счастливый период моей литературной жизни, длящийся и по сию пору. Один за другим выходили рассказы, добро и крепко замеченные читателями: «Зимний дуб», «Комаров», «Четунов, сын Четунова», «Ночной гость», «Слезай, приехали» и др. В критических статьях появились высказывания, что многие из этих рассказов были написаны еще на исходе сороковых годов, но остались под спудом.

«Зимний дуб», «Скалистый порог», «Человек и дорога», «Последний штурм», «Перед праздником», «Ранней весной», «Друзья мои, люди», «Погоня», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», «Чужое сердце», «Переулки моего детства», «Ты будешь жить» – вот далеко не полный перечень сборников, вышедших у меня в период 1953–1975 годов. Обратился я и к

⁵ Куда больше был резонанс фильма «Председатель», рассказа «Терпение» и повести «Встань и иди».

новому для меня жанру – повести. Кроме «Трудного счастья», в основе которого лежит рассказ «Трубка», и «Бемби», написанного вдоль, а иногда и поперек известной лесной сказки Феликса Зальтена, я написал повести «Павлик», «Страницы жизни Трубникова», «Далеко от войны», «На кордоне», «Перекур». Принципиальное значение имел для меня «Павлик», ибо тут я попытался расчитаться с тем душевным недорослем, не способным на самостоятельное бытие, о котором говорил вначале.

Один из близких друзей взял меня однажды на утиную охоту. С тех пор в мою жизнь прочно вошла Мещера, мещерская тема и мещерский житель, инвалид Отечественной войны егерь Анатолий Иванович. Я написал о нем книгу рассказов и сценарий художественного фильма «Погоня», но, помимо всего, я просто очень люблю этого своеобразного, гордого человека и ценю его дружбу.

Может показаться странным, как вяжется охота с любовью к животным. Но если исключить тех толстомясых стрелков, которым услужливые егеря нагоняют дичь на дробь, то все охотники любят животных. Выстрел по стремительно летящей утке, по мощно рвущемуся из крепки тетереву, по любой птице, любому зверю, защищенному своей быстротой, резвостью, ловкостью, – это не жестокость, убивая на охоте – любишь... Но сейчас, в пору жесточайшего оскуднения природы, лучше погодить с этой вот любовью...

О своем чистопрудном детстве, о большом доме с двумя дворами и винными подвалами, о большой коммунальной квартире я рассказал в цикле «Чистые пруды» и «Книге детства».

Мои рассказы и повести – это и есть настоящая автобиография. Вот «Трубка», которую упорно считают вещью автобиографической, написана с чужих слов. Все остальное, конечно, кроме исторических сочинений, или пережито, или хотя бы увидено.

С конца пятидесятых я много времени отдаю кино. Начал я с самоэкранизаций, это был период учебы, так и не завершенной в киноинституте, освоение нового жанра, затем стал работать над самостоятельными сценариями, к ним относятся: дилогия «Председатель», «Бабье царство», «Директор», «Спасите наши души» («Красная палатка»), «Чайковский» (в соавторстве), «Ярослав Домбровский». К этой работе я пришел не случайно. Все мои рассказы и повести локальны, а мне захотелось пошире охватить жизнь, чтобы зашумели на моих страницах ветры истории и народные массы, чтобы переворачивались пласты времени и совершались большие протяжные судьбы. Для этого надо писать роман, но я, видимо, по самой своей структуре не могу писать «толсто». А ведь сценарий двухсерийного фильма, оруduющий веками и толпами, содержит не более ста двадцати страниц, то есть остается в пределах малой формы...

Конечно, я работал не только для «крупномасштабного» кино. Я рад своему участию в таких фильмах, как «Ночной гость», «Самый медленный поезд», «Девочка и Эхо», «Дерсу Узала»⁶, «Поздняя встреча», «Загадка Кальмана», «Юность Бемби».

В последние годы, не изменяя современности, я стал много писать о прошлом, о деятелях русской и мировой культуры. Это большой цикл рассказов о протопопе Аввакуме, Тредиаковском, Бахе, Гёте, Пушкине, Дельвиге, Тютчеве, А. Григорьеве, Лескове, Фете, Рахманинове, повести о Чайковском, Хемингуэе. Написал я и вещи чисто исторические: «Сильнее всех иных велений», «Куличек-игумен», «Квасник и Буженинова».

В 1980–1981 годах вышло собрание моих сочинений в издательстве «Художественная литература».

Ныне я открыл для себя еще одну интересную область работы: учебное телевидение. Я сделал для него ряд передач: о Лескове, Лермонтове, Иннокентии Анненском, И. С. Бахе, С. Т. Аксакове.

⁶ Премия «Оскар». В 1990 году меня наградили европейской премией «Агридженто».

Существует горделивая сентенция, я слышал ее от многих, в том числе от одного вертущая: «Если б мне дано было начать жизнь сначала, я прожил бы ее точно так же». Не могу сказать этого о себе. Я считаю, что моя жизнь заслуживает одобрения лишь как черновик. Набело я прожил бы ее иначе. Я пошел бы на исторический факультет и, вернувшись с войны, окончил бы его. Я не спешил бы печататься, а спешил бы жить, глубоко, сильно, сосредоточенно. Не повторил бы я и многих других ошибок. Но мне никто не дает такой возможности – переписать черновик. И я благословляю каждый день жизни, какой я ее прожил, и каждый оставшийся мне день.

Встань и иди. Повесть об отце Написана в 1954 году. Опубликовано в 1987 году в журнале «Юность»

1. Несостоявшееся путешествие

Не знаю, любил ли я отца в эти ранние годы. Едва ли. Я любил Дарью, Дашуру, служительницу и стража нашего дома. Но отец возбуждал мое любопытство, будил фантазию. Каждое утро он куда-то исчезал и появлялся под вечер, когда единственное окно длинного коридора нашей квартиры, обращенное на закат, обливалось оранжевым и на полу под ним ложились светлые, сияющие полосы. То, куда отец исчезал, называлось обычно службой, реже – биржей. Я не знал значения ни первого, ни второго слова. Но второе слово меня чаровало. И до восьми лет, когда я пошел в школу и научился хитрить, на привычный вопрос взрослых: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» – я с гордостью отвечал: «Биржевиком».

Я знал, что с таинственным словом «биржа»⁷ связаны и те красивые денежные знаки, которыми мне давали играть. Дети любят играть в куплю-продажу, инстинкт торговли, мены, наверное, один из древнейших человеческих инстинктов. Летом, на даче, в погожие дни, мы – ребята – играли в «зеленщика» – листья подорожника были салатом, его зеленые, пупырчатые стрелы – огурцами, другие травы означали морковь, капусту, петрушку, репу, свеклу; в ненастье мы играли в «кондитерскую» – лепили булочки из грязи, в особых формочках «пекли» всевозможные пирожные и кексы из мокрого песка; зимой мы играли в скобяные, москательные лавки.

На этих игрушечных торжищах мы расплачивались не бумажками и щепочками, а красными, синими, узорчато-белыми тугими, пахучими, хрустящими деньгами всех пяти континентов. Деньги раньше марок одарили меня волнующим ощущением широты, безграничности мира. Биржа казалась мне и портом, и кораблем одновременно, а вернее – воротами в огромный, захватывающий дух простор жизни. Отец был путешественником, единственным путешественником в нашей семье. Остальные были так же пригвождены к квартире, как и я сам. Дашура ходила за съестным до того, как я просыпался; мамины вечерние выходы происходили поздно, когда я уже спал. Один отец на моих глазах с каждодневным, неиссякаемым бесстрашием исчезал в неведомом. И меня тянуло за ним, тянуло в мир, где хрустят, переходя из рук в руки, все эти красные, голубые, зеленые, синие деньги.

У нас в коридоре, наискось от окна, находился чулан. Две стены у него были настоящие, капитальные, а две – дощатые, оклеенные обоями, в три моих роста и много не доходящие до потолка. Когда мысль о путешествии овладела мною, благородная крутизна этих двух стен увиделась мне бортами корабля. Небо за окном обернулось морем. Нелепый, увенчанный башенкой купол армянской церкви, стоявшей напротив нашего дома, стал чем угодно: маяком, островом, городом, пиратским судном, а сам я – капитаном, готовым вести свой корабль, окрещенный «Биржа», в таинственную страну биржевиков на розыски моего отца. Было все: корабль, маршрут, море, решимость, цель. Не было главного: навыка к отвлеченности, к мечте.

Я читал лишь одну, самую не романтическую книгу о путешествиях – «Робинзон Крузо». Книгу, наполненную мелочной заботой об одежде, жратве, хозяйственной утвари.

⁷ В то время биржа существовала официально.

Возможно, другой человек выносит из этой книги простор, полет, ветер. Но я, что соответствовало, видно, моей комнатной природе и убогому реализму воображения, помнил лишь ее «хозяйственную» сторону: бесконечный преysкурант всевозможных вещей и продуктов, частью созданных, главным же образом выловленных Робинзоном в море, найденных им на затонувших и потерпевших крушение кораблях. Мне и сейчас эта книга представляется гимном торжествующему быту.

Я не догадывался о том, что чувствует человек в море, между звездами и грозными, ночными волнами, но я, постоянно тершийся на кухне, хорошо знал, какая полезная штука – примус. Без примуса я не мог выйти в плавание. И я полдня мастерил примус из старой консервной банки, проволоки и пуговицы. Мне надо было, чтобы этот примус накачивался, иначе его не разжечь. Справившись с этой задачей, я приступил к дальнейшим сборам. С тщанием, какому позавидовал бы сам Робинзон, я запасал питьевую воду, солонину, галеты, масло, соленую рыбу, спички, порох, свечи, одежду, спальные мешки, бумагу, карандаши, почтовые марки. Я не забыл даже учебника немецкого языка – в ту пору ко мне уже ходила немка. Эту кропотливую работу я прерывал лишь для воображаемого завтрака, ведь и для Робинзона трапеза была священным обрядом его островной жизни. Этот условный завтрак – рагу из чурочек, салат из обрез ков маминой зеленой шелковой юбки – по сложности приготовления и поглощения занимал куда больше времени, чем обыкновенный, настоящий завтрак. Когда я разделался с ним, окно, глядевшее на закат, облилось розовым, затем желтым, в окнах башенки, венчавшей купол церкви, зажглись красные огоньки, и она, как никогда, стала похожа на маяк. Можно отплывать. Я уже собирался отдать команду, но в кухне тренькнул звонок, хлопнула дверь, и мимо борта моего корабля, размахивая толстым, таинственно и туго набитым портфелем, быстро прошел отец: легкий, бодрый, со смугловатым, будто обдутым южным ветром лицом. Он вернулся, вернулся сам, не дождавшись меня, из далекой страны биржевиков.

– Обедать!.. – послышался голос мамы, и, грустно окинув взглядом свой прекрасно оснащенный, с поднятыми парусами, с набитыми трюмами, готовый к покорению пространства корабль, я сошел на сушу.

Путешествие так и не состоялось. Но зато сколько их было потом, сколько верст проделал я по следам отца: далекий Иркутск, душный, пропыленный Саратов, первое чудо Ленинграда, забытый богом Егорьевск, Кандалакша среди поросших карликовыми соснами сопки и похожих на осколки зеркала озер, край, разлинованный, как ученическая тетрадь, рядами колючей проволоки, страшная Рохма...

И был день, когда отец снова не дождался меня. Я был нужен ему, он звал меня, звал последним зовом, а я не поднял обвисших парусов. И тогда, так и не дождавшись, он ушел в то последнее далеко, откуда уже нет возврата.

2. Как это случилось в первый раз

Семи-, восьмилетним я уже знал и любил отца, хотя и третьей любовью. Больше всех я любил Дашуру, потом – маму, но их я любил безотчетно, не создавая себе образа своей любви. Отца же я любил за то, каким он мне виделся и представлялся.

Отец был самым сильным. Однажды, в воскресный день, на даче в Акуловке, куда понаехало множество гостей, чуть подвыпившие мужчины устроили спортивные состязания. Отец лег на лопатки в траву и предложил семнадцатилетнему Кольке Шугаеву лечь на него и крепко держать. Когда тот сделал, как ему сказано, отец ловко перевернулся со спины на грудь, и Колька оказался под ним.

Отец был самым быстрым. На тех же состязаниях он опередил в беге всех, кроме длинноногого учителя математики Михаила Александровича.

Отец был самым находчивым. Купив на станции в Пушкино огромный арбуз, он все три километра до нашей дачи катил его перед собой по дороге. Правда, когда арбуз взрезали, его хрустко разломившийся шар оказался наполненным лишь розовой водой, но это не имело значения.

Некоторая противоречивость моих наблюдений меня не смущала. Меня несколько не удивило, что мой силач отец не мог донести со станции арбуз и вынужден был катить его по земле; что за второе место в беге он заплатил маленьким сердечным приступом. Я не играл с собой, я действительно не видел ни его малого роста, ни почти женской слабости, ни робких неумелых рук.

То, что я видел, поддерживалось легендой об отце. Отец был самым храбрым: он заслужил два Георгиевских креста в Первую мировую войну. Он ходил в штыковую атаку, он заменил в бою убитого командира. Он был самым остроумным: про одного знакомого, женившегося в ложном расчете на приданое, он сказал: «Женился по расчету, а вышло по любви». Он был дерзок. Один из маминых поклонников, бывавший у нас в доме, но отваживавшийся сидеть лишь на кончике стула, принес как-то раз бутылку шампанского. Расхрабравшись, поклонник развязно уселся на стул всем задом. Отец тут же побежал в магазин и вернулся весь увешанный бутылками, одну бутылку он нес в зубах. Выставив бутылки на стол, отец уселся сразу на два стула, а на третий положил ноги. Наконец, он был победителем. Известная в Москве красивая женщина и писательница написала целую книгу о том, как она любила отца и как ревновала его к своей сестре, еще более красивой и известной женщине.

Вот каким был мой отец: силач, бегун, храбрец, герой, остряк, бретёр, победитель – словом, обыкновенный отец, какой есть у каждого мальчишки и которого нельзя не любить, которым нельзя не восхищаться.

И все же его первый арест я воспринял довольно спокойно. Это случилось восьмого февраля 1928 года, через два дня после маминых именин, когда у нас были блины и множество гостей. Такого числа гостей у нас еще никогда не было, и вся огромная квартира, словно парильня, была заполнена клубами белого, густого, горячего блинного чада. Наутро по квартире гуляли сквозняки, мама обдувала все углы из пульверизатора. Прошел еще день, и уж ничто не напоминало о торжестве, началась обычная жизнь.

Я проснулся ночью, чего со мной никогда не бывало, от странного, незнакомого, чуждого легкому, свежему духу нашей квартиры, крепкого, душного запаха солдатских сапог. Я открыл глаза и сквозь сетку моей детской кровати, как сквозь решетку, увидел серую шинельную спину бойца, идущего к двери.

– Мама, кто это? – пробормотал я сонным голосом.

– Спи. Это Лёлин брат. Спи, – проговорила над моим ухом Дашура.

Лёля – старинная мамина приятельница, ее брат отбывал действительную военную службу, «воинскую повинность», как еще говорили в нашей семье. Я успокоился и сразу заснул.

Наутро я узнал, что папу арестовали. Этот серый боец вместе с какими-то другими, неизвестными мне людьми пришел ночью и арестовал моего папу.

Мне не очень-то было понятно, что значит слово «арестовать». Я понимал лишь, что папы не будет с нами какое-то время, что его отвезли в тюрьму, что ничего хорошего в этом нет. Но понимал я это разумом, в душе же гордился случившимся: не у каждого мальчишки арестовывают отца.

Гуляя днем во дворе, я говорил всем и каждому, сплевывая от избытка молодечества на раскисшие, серые февральские сугробы: «А у меня отца арестовали».

Я был чужаком среди дворовых ребят и остро это переживал. Я был единственным представителем интеллигенции среди них, и они презирали меня. Тщетно силился я завоевать их дружбу, раздаривая им свои игрушки, цветные карандаши, краски, изящные серебряные фруктовые ножи. Они охотно принимали дары, но не платили за то близостью. Тщетно дулся я с ними в расшибалку и в фантики, «тырил» бутылки и ящики на винном складе, стрелял из рогатки по окнам и задастым битюгам, привозившим на склад огромные гулкие бочки. Тщетно матерился, как заправский ломовик. Они относились к моим потугам со снисходительной, а чаще с злобно-насмешливой иронией. И теперь мне казалось, что несчастье уничтожит невидимую преграду между нами, что они отнесутся ко мне как к равному. Я добился лишь легкого, короткого любопытства, опять же окрашенного иронией, моя беда им ничего не говорила – их отцов никто не арестовывал.

Я очень скоро ощутил на себе последствия папиного ареста. Мой путь в ванну шел через дедушкину комнату. Каждое утро я подходил к постели деда, желал ему «доброго утра», целовал в колючую от седой щетины щеку и получал двадцать копеек. По воскресеньям я получал новенький хрустящий оранжевый рубль. Монетки я складывал в копилку, рубли отдавал на хранение маме. И вот в первое же воскресенье после папиного ареста, клюнув деда в жесткую щеку, я с обмершим сердцем увидел на мраморной крышке ночного столика, вместо радужной бумажки, тусклую, будничную двадцатикопеечную монетку.

– Папы нет... нам будет трудно жить, – тихо сказал дед.

Теперь я понял: это навсегда. Навсегда отнята у меня первая радость воскресенья. Значит, не шутка, когда у человека арестовывают папу...

Знал ли я тогда, за что арестовали отца? И да, и нет. Во всяком случае, не меньше, чем теперь, по прошествии стольких лет. «Арестовывают всех биржевиков», – не раз слышал я в те смутные дни эту фразу. Людям нельзя было иметь те красивые, разноцветные бумажки, которыми я играл. Но ведь можно было просто отобрать их и закрыть таинственное место, именуемое «биржей», тогда эти бумажки стали бы людям ни к чему. И как могли люди знать, что дозволенное сегодня окажется завтра преступлением? Наконец, уж если арестовывать, то никак не моего отца. Другим эти бумажки действительно давали богатство или хороший заработок, отцу они не приносили ничего или почти ничего. Он играл в эти бумажки так же невинно, как играл я, хотя куда с меньшим удовольствием. Нет и не было на свете человека, столь лишенного делового уменья, как отец. Для этого он был слишком беспечен, доверчив, мягкосердечен, незащищен, слишком радовался жизни. Он только числился при деле, только таскал свой тяжелый, бог весть чем набитый портфель, – жили мы целиком за счет деда, известного врача. И то, что после ареста отца меня лишили воскресного рубля, было скорее ритуальным жестом, вроде посыпания пеплом главы, нежели необходимостью.

Я недолго ломал голову над причиной ареста отца. И не очень страдал. Образовавшаяся пустота заполнилась усиленным вниманием близких: деда, Дашуры, мамы. Осталась комната с трапедией, игрушками и пухлыми томами «Трех мушкетеров»; остался двор с его

волнующей и в чем-то главном недоступной мне жизнью; впереди была чудесная акуловская дача с извилистой Учей, дремучим еловым бором, непролазными ольшаниками и великовозрастным Колькой Шугаевым, посвящавшим меня в тайное тайных.

Я едва не забыл отца, но тут мы свиделись: прощальное свидание перед его отправкой в ссылку. Отца осудили на три года «вольного» поселения в Сибири, в те идиллические времена это казалось огромным сроком. Свидание происходило в Бутырской тюрьме. Мы – мама, дед и я – довольно долго томились перед высокими стенами тюрьмы, затем нас впустили во внутренний двор, битком набитый такими же, как и мы, прощающимися. А потом был дан знак, и вся толпа устремилась в узкий и, как мне сейчас кажется, подземный тоннель. Мы быстро шли, почти бежали, влекомые толпой, по этому плохо освещенному, с тусклыми, осклизлыми стенами тоннелю. И вдруг бежавшие впереди круто осадили, подались назад, прозвенел чей-то высокий вскрик, затем еще крики и еще – мужские, страшные, хриплые крики, – толпа рвалась вперед, заголосила какая-то женщина, мы оказались перед решетчатой дверью, ведущей во внутренний тюремный коридор, и увидели их.

Уже в эту самую минуту возник у меня точный образ увиденного. За несколько дней перед тем к нам на квартиру явился крысолов и установил в чулане, некогда служившем мне кораблем, огромную клетку. На другой день на глазах всех квартирантов он извлек клетку, до отказа набитую крысами. Словно бы сам сказочный, многоголовый крысиный король попался в западню. Трудно было понять, как могло набиться в ловушку столько крыс, – сплошной шевелящийся, визжащий серо-рыжий комок, дикое сплетение хвостов, лап, худых омерзительных тел, треугольных морд... Вот такая же страшная, душная теснота налезавших друг на друга тел, сплетающихся в борьбе рук, бодающихся голов открылась нам за толстыми прутьями решетки. Это месиво визжало, дралось, орало, взывая к своим по ту сторону решетки, борясь за то, чтобы пролезть вперед, выиграть хоть лишний взгляд, лишнее слово. И вдруг среди этих темных, одержимых фигур, страшных, неистовых, бледных лиц я увидел смуглое, чуть монгольское, радостное и страдающее, но ни в чем себе не изменившее лицо отца. Он был у самой решетки, произошло это случайно, как нередко бывает в мятущейся толпе: непричастные к общему смятению оказываются в выигрыше.

– Сережа!.. – крикнул он, увидев меня, и голос его сломался.

Наводя порядок, в арестантское месиво погрузился приклад часового. Лицо отца снова мелькнуло и скрылось, и мы побежали куда-то вперед.

А затем было свидание через две решетки, по узкому коридору между ними ходил часовой. И все же мама сумела передать отцу деньги, – единственное, что я помню, потому что об этом, как о подвиге, много говорили потом, все остальное утратилось в оглушенном сознании.

Отныне я запомнил отца навсегда. Он поселился в моей душе, и никакое рассеяние не могло его потеснить. Опять он вернулся ко мне: силач, храбрец, герой, остряк, бретёр, победитель. Но теперь появилось нечто еще, что делало мое чувство много богаче, чем чувства других мальчишек к их не менее замечательным отцам, – он был несчастным. Сознание этого навсегда окрасило мое отношение к отцу какой-то тонкой, чуть болезненной нежностью.

3. Иркутск

В пору нашей краткой совместной жизни отец не делал мне подарков. Правда, в день моего рождения или на Рождество считалось, что такие-то подарки идут от мамы, такие-то от папы. Но я понимал, что это условность, все подарки были выбраны и куплены мамой. А так вот, отдельно, по собственному почину, отец мне никогда не дарил. Дарили дед, мама, Дашура, отцу было не до того, он жил жадно, заинтересованно собственной, еще довольно молодой жизнью; к тому же, как большинство молодых отцов, он не очень-то представлял себе, что следует мне дарить: до чего я дорос, не дорос, а что и перерос.

Семейная легенда утверждала, что в пору, когда я делал первые свои шаги – время тогда было тяжелое, скудное, – мне справили пальтецо из зеленого, в изумруд, обивочного материала. Увидев меня в обновке, отец чуть не заплакал – я был похож на какой-то ядовитый стручок – и тут же отдал мне на пальто свой единственный выходной пиджак.

Но память моя пробудилась, когда нарядное пальтишко уже было сношено, а других подарков от папы я не видел. А тут, ссыльный, неимущий, он подарил мне целый город, и какой – с дорогой через всю Россию! Многое, случившееся куда позже, давно позабыто, но Иркутск светится в памяти каким-то особым светом. Иркутскую жизнь я помню всю изо дня в день, там не было ничего второстепенного, его и вообще не бывает на переломе жизни, пусть даже детской. А в Иркутске переломилось не только мое комнатное существование, – домашний зверек увидел, как огромен, многообразен, сложен мир, свершился переход от младенческой всеядности к отбору, то есть к характеру.

Привычное, незыблемое рушилось уже в пути. Из московского июньского лета въехали мы в уральский снегопад. Притихший, смотрел я в темное окошко вагона, за которым стремительно и густо неслись снежинки, а затем были утренние поляны в сверкающем ровном снеге, а затем, без перехода, без весны, свежая, молодая листва деревьев; в огромных провалах между горами, глубоко внизу под поездом, волнующаяся голубовато-зеленая листва перелесков казалась рекой. Были и настоящие, великие, страшноватые в широте своей и затаенном спокойствии сибирские реки: Обь, Енисей, Иртыш. Проходя над ними, поезд затихал, реже и глуше колесный перестук, тишина в вагонах...

Иркутск был чудом, вернее, целым скопищем чудес. Ледяная Ангара, просматривающаяся на огромной глубине до последнего камушка на дне, до тонюсенькой водоросли, неутомимо пускающей вверх жемчужные шарики пузырьков. Мы брали двухпарную лодку и плыли к островам, что слева от пристани. Когда мы входили в узкую горловину между двумя ближайшими островками, простор поворачивался вокруг своей оси, островки, будто играя в чехарду, перепрыгивали друг через дружку, весла выпадали из рук. Головокружение длилось с минуту, а когда оно проходило, мы обнаруживали, что челнок наш отброшен назад на добрый десяток метров. Между островками был водоворот с мощным выбрасывателем, он вращал лодку, насыщая ее центробежной силой, а затем швырял назад к пристани. Мы еще и еще повторяли нашу попытку, а затем в блаженном, дурманном изнеможении смотрели, как рыбаки, ловко и уверенно действуя шестом, спокойно проводили над водоворотом свои длинные, плоскодонные пироги.

Была еще Ушаковка, впадающая в Ангару. Она так стремительно текла с гор, что рыбы, плывущие против течения, порой провисали недвижно, – бери руками или накалывай вилкой. Я купался в ее быстрой и довольно теплой воде, я плавал в ней, и это было прекрасно, как полет во сне. Я размахивал руками, едва касаясь мгновенно ускользавшей воды, и меня несло с обрывающей дыхания скоростью в широкое устье, где воды Ушаковки и Ангары, смешиваясь, создавали плавно тормозящую среду.

И были цветы, полевые цветы, растущие по склонам невысоких гор за южной окраиной города, цветы, в которые трудно поверить, так они роскошны, так превосходят скромные луговые цветы Подмоскovie. Цветы, похожие на мясистые петушиные гребни, цветы, напоминающие наш садовый львиный зев, но не желтые, с красноватыми подпалинами, а многокрасочные: с пунцовым, словно окровавленным, верхним небом и синеватым – нижним, фиолетовым крапом, палевыми надбровьями, янтарной головой и желтыми заушинами. Были цветы, похожие на садовые бессмертники, но не сухие, а трепетно-мягкие, полные в каждом лепестке нежной, непрочной жизни, с желтым венчиком и синей коронкой; были, как садовые лилии, целые лужайки палевых, навоощенных лилий на длинных, стройных стеблях с саблеобразными листьями; были, как махровая гвоздика, но пышнее и всех расцветок, от фиолетового до бордового; были и такие, что не сравнишь и не опишешь, словно фантастические гибриды василька с георгином, ромашки с настурцией, причудливые, сказочные цветы с длинными пестиками, торчащими, будто щупальца, из глубокой, слоистой чашки.

Отец не знал цветов, про каждый сорванный цветок он задумчиво говорил: «Кажется, это маргаритка».

Порой на каменистых срезах гор обнажались вкрапления серебристо-сверкающей породы. Не стоило большого труда отбить кусочек такой породы, от него отслаивались тонкие, блестящие чешуйки, похожие на рыбы. «Это слюда, – говорил отец, – слюдяные горы». Меня охватывал трепет, впервые приближался я к первооснове вещей...

Еще раньше, в Акуловке, мама сумела показать мне дерево. В моей жизни это было одним из самых важных событий, куда важнее первой близости с женщиной, первого выстрела, направленного в меня, важнее всех книжных открытий. Дерево было плакучей березой, старой, кряжистой, с разлапистыми ветвями, увешанными кулями вороньих гнезд. «Посмотри, какое чудесное дерево», – сказала мама. Я посмотрел на березу, которую видел не раз, что-то сжалось во мне, распахнулось, и я вдруг всем существом своим понял, как прекрасно дерево, прекрасней всего, что есть на земле, целый мир, чистый, радостный, свободный, светлый мир, который никогда не изменит, не обманет, выручит, поднимет, спасет. Это очень важно – увидеть в детстве родное, русское дерево.

В Иркутске, в небывалой близости к рекам, горам, недрам, деревьям, цветам, насыщался я, словно под мощным давлением, чувством родины...

С крыши узкого, длинного сарая, примыкавшего к дому, в котором мы жили, открывался постоянный двор. Там грудились подводы с задранными оглоблями; привязанные к задку телег низкорослые лошади с худыми шеями и раздутыми животами, в толстых, как канаты, венах, непрерывно и неустанно жевали солому, пуская длинную слюну с угла черных губ. Между подводами слонялись страшные люди с плоскими, будто раздавленными, смуглыми лицами, твердыми и круглыми, как кулаки, скулами, узкими, припухлыми щелями глаз и широкими, сплюснутыми носами; у многих и вовсе не было носов; у кого на месте носа зияла черная, гноящаяся щель, у кого белела полоска бинта, завязанного узелком на затылке, более счастливые сохранили ноздри с продолговатыми, вертикальными дырками. То были буряты, во множестве наезжавшие в город. В посконных рубахах, в шапках с меховой опушкой, иногда в сопровождении безносых, украшенных серьгами жен и невероятно грязных детей, они день-деньской гомозились на постоянном дворе, вповалку спали на телегах, пили водку, ругались. Я смотрел на них с любопытством, но без враждебности. Странным, жутковатым родством веяло на меня от них. В их ужасных лицах было какое-то родовое сходство и с лицом отца, и с тонким лицом матери, и с моим собственным детским лицом. Мы были одного корня. В мое новое понятие родины с ее просторами, цветами, реками, горами вошли и эти безносые братья.

По главной улице города, куда выходила наша Малая Блиновская, гуляли среди городской толпы высокие, стройные, светловолосые мужчины и, под стать им, высокие, гибкие

женщины – все в легкой серой или кремовой фланели, в красивых, мягких туфлях на толстой каучуковой подошве. Днем их не было видно, они появлялись после четырех, когда смягчался горячий свет дня и тень деревьев, густо посаженных вдоль тротуара, становилась четкой и прохладной. Сдержанные, свободные жесты, сдержанно-громкие, уверенные голоса, открытый смех резко отделяли их от других прохожих. Казалось, каждый из них заключен в прозрачную, до незримости, оболочку, проницаемую лишь для им подобных. Я встречал их и на стадионе. В белых костюмах и белых шапочках с зелеными целлулоидными козырьками, они играли в теннис, громко и отрывисто выкрикивая: «Плэй... Рэди!» И здесь незримый стеклянный купол отделял их от зрителей, от всего, что не было их миром. Они несли с собой свою особую вселенную, чистую, звучную и свободную. Эти светловолосые, длинноногие боги были служащими датского телеграфа. Какое глубокое и волнующее чувство вызвала во мне их непричастность к привычной мне действительности, их дивно сложенные, узкие тела, четкая, выразительная лепка лиц.

В первой половине дня боги вели скрытое от посторонних глаз существование, или просто я забывал о них. Жизнь все-таки полна интереса, вот хотя бы чудо иркутского рынка!..

Среди бесчисленных палаток, лотков, деревянных рядов переливалась пестрая, шумная, разноязыкая толпа: русские, татары, буряты, якуты, китайцы. Висели на крюках цельные бычьи туши и отдельно лежали под ними волосатые, рогатые и глазастые бычьи головы; висели изящные бараньи и телячьи тушки, на цинковых лотках горами высились лилово-коричневые ошмотья печени, тугие, мускулистые сердца, селитряно воняла шершавая, зеленая, пупырчатая требуха. А рядом покрывалась пылью на деревянных лотках халва из кедровых орехов, желтели глыбы сливочного масла, густо пахивало в кадушках золотистое, крупитчатое, похожее на чуть засахарившийся мед русское масло; кусками горной породы лежала ароматная смолка, которую так вкусно жевать; груды всевозможных, домашнего изготовления сладостей перемежались с лепешками козьего сыра, кусками красивого, без жилки и мосолка, пунцового медвежьего мяса, бутылками коричневатых сливок, бидонами жирного, густого молока.

В крытых рядах было царство зелени. Павлинными шлейфами свешивалась с прилавков ботва крупной, с голову ребенка, свеклы и под стать ей брюквы и репы, прямо на земле валялись расколотые чаши тыкв; гирлянды луковиц в мертвой, сухой одежде соотносились с живой плотью моркови, петрушки, огурцов, помидоров, редиса, как сухие бессмертники с нежной жизнью других цветов. В огромных кадках, в темной жиже, проросшей, казалось, плавающим поверху желтоватым укропом, пряно благоухали всевозможные соленья; связки сухих грибов висели вперемежку со связками сушеных яблок, груш, слив, и как же все это пахло под жарким иркутским солнцем!

Дальше шли рыбные ряды, источавшие столь мощную вонь, что без дела туда не зайдешь. Там сверкала серебром свежая рыба и смуглым золотом – копчености; там царил – гордость Иркутска – истекающий медленным, янтарным жиром омуль...

Запахи снеди смешивались с крепким запахом лошадиной мочи и гнилого сена, колесного, поплывшего на жаре дегтя, – густое, жаркое, пахучее облако плыло над рынком, сладостно щекоча ноздри.

Будто заколдованные бродили мы среди роскошной, баснословно доступной снеди; кошелки давно уже набиты всем нужным и ненужным, а мы все ходим и ходим среди палаток, рядов, лотков, не в силах вырваться из сладкого дурмана. Рынок крутил нас, как водоворот, возбуждал, напрягал и обострял чувства.

– Смотрите, вон женщина с золотыми глазами, – слышится испуганно-восторженный голос мамы, и мы мчимся куда-то, разбивая толпу, задевая, чуть не опрокидывая лотки, и вдруг все трое, разом остолбенев, замираем в перехвате двух огромных, истинно золотых, небывалых глаз.

И еще вспоминается мне, что над всей рыночной толчеей и сутолокой покачивались на тонких шеях надменно-брюзгливые, покорно-отчужденные, сказочные морды верблюдов. Я знаю, что это не так, верблюды были позже, в Саратове, но мне хочется подарить верблюдов Иркутску. Им место здесь, в сказке иркутского рынка, а не на голой, пыльной, печально обобранной уже совершившимся переворотом – сплошной коллективизацией, – лишь жаркой пылью пахнувшей базарной площади Саратова.

По иркутскому рынку бродили слепцы и цыгане, шарманщики и медвежатники; пелись песни о мачехе, сжегшей в печи неродных детушек, о бродяге в омулевой бочке. Сколько минуло лет, а мне до сих пор снится его пестрота и шум, его снесь и сытые запахи, теплая, вязкая смолка, кедровая халва и золотые глаза женщины.

Моя песнь рынку будет недопета, если я не расскажу о первой, мучительной влюбленности в человека, постигшей меня там же, на рынке.

Один край рынка занимали частные лавочки: зеленные, мясные, рыбные, кондитерские. Как-то раз, придя довольно поздно и не найдя нужной нам вырезки, мы зашли в мясную лавку. За цинковым прилавком в кровавых потеках и загустях орудовал молодой человек с залысевшим лбом и тонкими, пышно отдухнутыми назад волосами на висках и темени. Он звучно шлепал перед покупателем на прилавок мясную часть, затем швырял ее на иссеченную, похожую на плаху толстую колоду, хрюскал топором по хрящам и косточкам, с небрежным видом бросал отрубков на весы и, не давая успокоиться медным чашкам, так был он уверен в своем глазе, быстро заворачивал покупку в газету. Моего отца он приветствовал как доброго знакомого, но я настолько уже привык к тому, что отца знают все в этом сказочном городе, что перестал испытывать гордость от подобных знаков внимания.

– Познакомься, – сказал отец, чуть подтолкнув меня вперед, – это наш знаменитый чемпион по велогонкам, товарищ Тенненбаум.

Товарищ Тенненбаум проговорил что-то в ответ на эти лестные слова, улыбнулся, показал зачем-то свои окровавленные ладони, но я ничего не слышал, не создавал. Как оглушенный смотрел я на великого человека, и грозная торжественная музыка творилась во мне.

Уже в ту пору был я болен мечтой о велосипеде. Дома у нас хранилась старая, выцветшая, дневной печати карточка: отец, пятнадцатилетний, в рубашке и брюках с зажимами, стоит под деревом, сжимая в руках велосипедный руль, а носком левой ноги упираясь в педаль. Так и чувствуется: сейчас фотограф скажет «готово», и отец, разом оседлав худого, рогатого металлического бога, помчится мимо деревьев в недоступные жалкому пешеходу дали. Я часами мог смотреть на эту карточку. Мне сообщалась готовная напряженность отцова тела, я чувствовал щекочущий упор верткой педали под ступней, зуд вспотевших на горячих резиновых рукоятках руля ладонях, миг – и деревья послушно замелькают мимо меня, и заскользят под колесом их тени, и во все стороны полетят золотые стрелы спиц. Металлического бога, подвластного отцу, звали звучным, похожим на выстрел, кратким словом: «Дукс». Я знал, что есть и другие боги: «Энфильд-Риш», «Энфильд-Рояль», «Энфильд-Урал», «Латвелла», «Опель», «ВСА», я произносил «Бейса». Я мог несколько кварталов гнаться за велосипедистом лишь для того, чтобы спросить прерывающимся голосом: «Дяденька, а какая у вас фирма?» Всякий, сидящий на тугом, пружинном, похожем на сердце седле велосипеда, казался мне существом иного, высшего порядка. Что же должен был я испытать, узрев короля этих избранных!..

Тенненбаум был не только чемпионом Иркутска, но и победителем всесибирских велогонков – словом, звезда первой величины в тогдашнем спорте. И все же именно с этим победителем вошла в мою жизнь мучительная тема *второго* человека. Казалось, я с детства предчувствовал ту неглавную, не первую роль, которую придется мне играть в жизни. Но еще задолго до того, как я осознал свою обреченность быть всегда на втором плане, я уже не мог любить первого. Мое сердце, моя боль неизменно принадлежали второму: не Пушкину, а

Лермонтову, не Толстому, а Достоевскому, не Алехину, а Капабланке, не Качалову, а Леонидову, не Козловскому, а Лемешеву. Но почему же началось это с Тенненбаума, который на моих глазах доказал полное свое превосходство над соперниками, вторично выиграв иркутское первенство? Очень сильная, очень настоящая любовь делает провидцем всякого человека, даже такого маленького, каким был я тогда. Вопреки очевидности, я где-то на дне души не верил в прочность победы Тенненбаума. словно Кассандра, сквозь густой дым его торжества проглядывал я близкое поражение, безнадежную «вторость», в которой он пребудет до конца своей спортивной карьеры. Так оно и случилось. Победенный им на моих глазах молодой, смуглоногий, красивый Батаен, чья звезда тогда только всходила, уже через год отбросил Тенненбаума на второе место.

Обреченность моего избранника лишь усиливала мою любовь к нему. С восторженным, печальным и сладостным азартом глядел я ежевечерне с трибун иркутского стадиона на упрямую, бешеную работу его худых, кривоватых ног...

Это была трудная любовь, но была и другая – нежная, легкая, радостная. Каждое утро мчался я на угол Малой Блиновской и главной улицы, где помещалась частная фотомастерская. В витрине маленького ателье был выставлен стенд с образцами карточек. Я подолгу смотрел на молодое, круглое, кроткое женское лицо с гладко причесанными волосами, разрезанными белой стрелкой пробора. Чуть приоткрытые в полуулыбке губы нежно вмяты в добрые, полные щеки, большие серые глаза будто присматриваются к чему-то хорошему, радостному. Низкий воротничок платья открывает высокую, округлую, нежную шею, на груди маленькая, усыпанная камешками, брошка. Чистотой, доверчивостью, добротой и женственностью веет от этого облика. Около витрины останавливаются прохожие, и мне кажется, все они смотрят на Аню. Им, наверное, любопытно, кто эта молодая, красивая, полная светлой благожелательности женщина. Жаль, что никому из них не приходит мысль спросить меня...

Я сказал бы им, что это папина знакомая, и моя знакомая тоже; что у нее негромкий голос и тихий, долгий смех; что у нее теплые длинные пальцы, и когда она осторожно запускает их в волосы человеку, то человеку хочется и плакать, и смеяться одновременно. Впрочем, этого я, пожалуй, не сказал бы. Но я сказал бы еще, что она довольно высокого роста, куда выше моего отца, и все же, когда они идут рядом по улице, понимаешь, что им надо быть вместе, такое сродство связывает тонкую, хоть и не худую, высокую женщину с маленьким, широкоплечим, коренастым и легким мужчиной. А еще я сказал бы, что у нее есть старый отец, в прошлом учитель, ныне рыбак, множество братьев и сестер, что квартира у них набита сетями, удочками, сачками, аквариумами с золотыми и серебряными рыбками, гербариями, чучелами птиц и зверей и что мне хотелось бы всю жизнь прожить возле нее, в этой чудесной тесноте ее квартиры, самым младшим ее братом. Я умолчал бы о том, что порой, особенно по ночам, я ощущаю, что между моим отцом и нею есть нечто тайное, но я не завидую отцу, не ревную ее к нему, счастливый той ролью, какая отведена мне в этой любви втроем.

Впрочем, я любил не одну только Аню. Я любил и рослую, рыжеволосую, крикливую Зинаиду Львовну, но любил по-другому, небрежно, чуть свысока. И никогда не виденную мною девушку, которая в пору нашей иркутской жизни переплыла ледяную Ангару; она рисовалась мне лишь взмахом загорелой руки, как взмахом крыла, в пенистых брызгах зеленой от стужи воды. И ту, однажды мелькнувшую на рынке, женщину с золотыми глазами. Я щедро наделял отца ответной любовью всех этих женщин, самому мне нечего было делать с их взаимностью. Хозяин иркутских чудес, отец и сам был сказочен для меня в ту далекую пору. Кстати, много позже одним печальным вечером в безвестном городке Рохме, где вспоминали мы прошлое, выяснилось, что он и в самом деле пользовался любовью всех этих

женщин: и Ани, и Зинаиды Львовны, и смелой пловчихи, и даже золотоглазой женщины, лишь для нас с мамой была она мимолетным видением...

Мне никогда не перечислить всех иркутских чудес, но еще об одном, пусть не главном, я должен все же сказать: я как бы взял реванш у московского, упорно не принимавшего меня двора. Наши дворовые ребята никогда не становились столь чуждыми и враждебными мне, как в те загадочные часы, когда гоняли голубей.

Я не мог постигнуть смысла этого занятия. Зачем свистят они в три пальца, когда голубиная стая козыряет с карниза на карниз? Зачем простаивают часами на крыше дровяного сарая с сосредоточенными до злобности лицами, высматривая невесть что в небе, и вдруг начинают орать и размахивать руками? Что это, вообще, такое – гонять голубей? Неужто все дело в том, чтобы гонять стаю с места на место? Я чуял, что за всем этим бессмысленным действием кроется какой-то потайной смысл, но проникнуть в него не умел. Ребята не терпели соглядатаев в эти священные минуты, а спросить их я не решался.

В Иркутске тайна открылась мне. Тут я не был изгоем. Кешки и Леньки – всех иркутских ребят зовут Кешками и Леньками – не только приняли меня в компанию, но и ввели в самое свое сокровенное: в голубиную охоту. Да, это было: огромное голубое небо и разноцветные голуби в нем. Белые, сизые, белые с коричневым, по-кукушечьи пестрые турманы, чистые, палевые монахи, сизари, голуби ничейные, и наши голуби, и голуби ребят с соседних дворов. Стая мечется в голубой выси, тщетно отыскивая место, куда бы сесть, – отовсюду ее гонит пронзительный свист и вопли наших голубятников. Я не принимаю участия в гоне. Скорчившись за деревом, я сжимаю в потной руке конец бечевы, тянущейся к откидной дверце клетки-домика. Близ клетки расхаживает с перевальцем сизая голубка. Порой она взлетает невысоко и трудно на подрезанных крыльях, роняет два-три изящно изогнутых перышка и снова садится у отверстий дверцы. И голуби, мечущиеся в выси, вдруг опускаются ниже, трепещут над домиком и разом, с пристуком, садятся рядом с голубкой. Жеманно знакомятся клювами и следом за хозяйкой заходят внутрь домика, словно для осмотра квартиры, сдаваемой внаем. Нервный вздрог моей руки опережает рассчитанное движение, дверца захлопывается. Голуби наши!..

Все эти многочисленные чудеса, это перенапряженное существование, полное каждодневных открытий, должны были породить какое-то главное, ответное чудо во мне самом. Так оно и случилось, незадолго до нашего отъезда, на речке Ушаковке, куда меня отпускали купаться одного...

На Ушаковке было весело, просторно и как-то необыкновенно светло. Иркутское солнце, отраженное в зеркалах двух рек, заливало простор ослепительным светом. В этом свете таяли вершины слюдяных гор, а сияющий белизной город казался искупавшимся в молоке. И так много было блещущего, сияющего, светящегося, отражающего вещества, словно здесь, на ушаковской стрелке, выковывались для утренних зорь новые ослепительные тарелки солнца.

Однажды я, против обыкновения, долго задержался на реке. Я не замечал часов, мне казалось, что сумерки наступили внезапно, словно их принесла большая туча, вставшая над Ангарой. Простор сузился и замкнулся. С востока над ним нависли горы, тускло-сизые и холодные, с запада поднялся город черными куполами церквей, угрюмая туча и недобрая тьма подступившего вплотную городского парка завершили круговую огорожу. Вода отсвечивала тусклой фольгой, и свет этот бессильно стелился по берегу, словно тень настоящего света.

Я почувствовал себя погруженным на дно гигантской чаши. Где-то, за краями чаши, остались отец и мать, осталась счастливая радость моих летних иркутских дней. А края чаши вздымались все выше, сдвигались, жадно поглощая простор, незнаемый страх вошел в мое сердце. Словно узник, пытающийся вырваться из темницы, я стал разыскивать самое слабое

звено в огороже. Горы, туча, парк не давали мне никаких надежд. Я взглянул на город: самый высокий купол собора приютил немного золотого света. Я сжал три пальца в щепоть и, с силой ударяя себя по лбу, груди и плечам, стал горячо молить:

– Миленький боженька, я тебя очень люблю, сделай так, чтобы со мной ничего не случилось, миленький боженька, сделай, чтоб со мной ничего не случилось, сделай, чтобы я опять был с мамой и папой, миленький боженька, я тебя так прошу, так прошу!..

Отныне облезлые купола и покосившиеся черные кресты стали для меня средоточием тайны и избавления. Умиленно, жарко и надрывно нес я им свой впервые пробудившийся страх перед жизнью. Это было не только рождением страха, но и рождением души. Девяти лет от роду согнулся я впервые под тяжестью души...

Ощутив так проникновенно силу божью, я навсегда поразился слабости человеческой. Я понял, что мои ангелы-хранители – мои близкие – способны защитить меня лишь от грубых житейских тяжестей, но бессильны в мире тайны и страха. Я увидел, как слабы они и ненадежны, как сами они нуждаются в защите, и решил стать их ангелом-хранителем. Я не пропускал отныне ни одного купола, ни одного креста, ни одной двери, отверстой в дышащее старым сундуком и медом нутро церкви, чтобы не вымолить им большого или малого счастья:

– Миленький боженька, сделай!..

На десятилетия обременил меня Иркутск этой нелегкой и утомительной заботой...

Все имеет конец – кончилось и долгое иркутское лето. Мы с мамой снова в вагоне, уже пробил второй звонок. На перроне в опавших желтых листьях вовсе не сказочный, а простой, родной и потерянный, с мокрыми глазами и жалкой узенькой улыбочкой на монгольском своем лице, крепится и неслышно за толстыми стеклами шутит бедный такой сейчас отец. Я надсадно вымаливаю ему счастья, скорого возвращения, всего, всего. Слепой от слез, уверенный, что и меня не видно, я молюсь все откровенней, беззастенчивей и отчаянней, и поезд трогается...

4. Саратов

Когда мы ездили в Иркутск, шел второй год ссылки отца, до того он находился в глухой деревушке на Лене, под Киренском, и мы за дальностью не могли увидаться с ним. Из Иркутска отца перевели в Новосибирск. Это постепенное передвижение его из мест весьма отдаленных в места менее отдаленные было результатом настойчивых хлопот мамы. Благополучное завершение очередных хлопот ознаменовывалось появлением в нашей квартире двух жизнерадостных молодцов, пахнувших новой кожей сапог и ремней. Один был черный, с небольшой острой бородкой, другой – огненно-рыжий, с бледно-голубыми, бешеными и ласковыми глазами. Квартира наполнялась пробочной стрельбой, громкими голосами, шарком и смехом, без устали играл патефон, один из первых патефонов в Москве, напевая: «Вас махст ду мит дем фус, либер Ханс...»

Когда же истек трехлетний срок ссылки, отец получил так называемый «минус» – не помню уже сколько городов. Во всяком случае, он немного выиграл от своего мнимого освобождения. Правда, он мог теперь жить ближе к Москве, но все мало-мальски стоящие города оставались для него под запретом, кроме городов все той же Сибири. Почему человек, отбывший определенное судом наказание, не может вернуться домой, а должен еще годы находиться в изгнании, было неведомо. Мы были огорчены, возмущены, мы плакали, но мы не мучили себя этим вопросом: почему? Мы были бы куда сильнее поражены, если б отец вернулся. Так или иначе мама начала действовать. И вот снова наша квартира наполнилась радостным гогом и вкусным запахом сапог рыжего весельчака и его бородатого приятеля, снова ударили пробки в потолок и охрипший, сносившийся голос стал спрашивать Ганса о его ноге, – отец получил разрешение поселиться в Саратове. Летом мы поехали к нему.

Пусть других мальчиков их благополучные, не разлученные с ними отцы воспитывали каждодневно: кто словом, кто делом, «от руки», по выражению Диккенса, а кто и словом и делом. Мой отец по-своему тоже воспитывал меня, но без мелочной опеки. Он воспитывал меня городами, дорогами, сменой болей и острейших, рвущих душевную ткань впечатлений.

Если Иркутск был многолик, разнообразен, то вся саратовская моя жизнь прошла в одном ключе, в одной неистовой страсти, затмившей всё и вся: Волгу, которую я в тот приезд так и не «открыл» для себя, и самый город, оставшийся в памяти лишь облаком пыли, и его обитателей, с которыми я не вступил ни в какие отношения. Этой страстью были бабочки. Она настигла меня в самый день приезда, когда сын папиных хозяев показал мне свою коллекцию, хранимую в двух больших плоских картонных коробках из-под детской настольной игры с загадочным названием «Риче-Раче». Наколотые иголками на картон, с распластанными крылышками, похожие то на лепестки цветка, то на тончайший шелк, то на бархотку, то на яркий, пестрый ситец, бабочки были поразительно красивы. Я никогда не думал, что их так много и они такие разные. Я смотрел на бабочек и понимал, что отныне нет мне никакой жизни, если я не соберу такой же коллекции. Что привлекло меня: красота ли этих бабочек, предощущение ли азарта ловли или зараза чужого вдохновения? Скорей всего, и то, и другое, и третье, а главное – коренящееся в каждом человеке стремление к совершенству и завершенности; бессильное пересоздать внутреннее существо человека, оно ищет свою форму в чем-либо внешнем. Коллекционирование – это фокус, в котором собирает себя распыленная личность.

Хозяин бабочек, почуяв мою «затронутость», стал увлеченно рассказывать о своих сокровищах. Это вот уральский махаон – у бабочки были ярко-желтые, изящно и остро удлиненные книзу крылышки с темным, колечками, бордюром. А это белый махаон, он еще крупнее, чем уральский, но ценится меньше. Вот траурница – название говорило само за себя, –

темно-коричневые бархатные крылья бабочки были обведены двойной каймой – белым с черным. Эти вот пестренькие – сестры: одну именуют аванесе-це, другую аванесе-таланте. Вот мраморница, ее крылышки покрыты мрамористым разводом. Эти, в мелких точечках, большая пестрая и малая пестрая, они бывают и оранжевыми, и фиолетовыми. Желтенькая – лимонница, беленькая с черным – капустница. Вот эта, будто углем натертая, большая черная, а эта малая черная. Я слушал, и каждое название намертво запечатлялось в мозгу.

Покончив с дневными бабочками, хозяйский сын перешел к ночным, занимавшим вторую коробку.

– Видишь, надкрылья у них серые, окрашены только нижние крылышки. Когда они садятся на ствол дерева, то складываются конвертиком, так что их нипочем не отличишь от коры. Вот розовый бражник, вот – голубой, а вот – молочайный, вон какой здоровый! А вот самая главная... – Он достал из стола папиросную коробку, медленно открыл. – Мертвая голова, – произнес он таинственно и значительно. – Видишь череп и кости?

Я смотрел на огромного ночного летуна, с черным распахом верхних крыльев и нежной желтизной округлых нижних крылышек, с воцаным, толстеньким телом, и готов был увидеть не только череп и кости, но и целое кладбище...

На следующее утро я с помощью мамы наладил сачок, – покупные сачки, по презрительному замечанию хозяйского сына, годились только гусениц ловить, – и началась та изнурительная, слепая, запаренная, неистовая жизнь, в которой я сжег, сам едва не сгорев, саратовское лето. Если даже слить воедино, в одну привязанность, все мои иркутские кумиры: цветы, Тенненбаума, Аню, Зинаиду Львовну, датчан, церковные купола, – то бабочки и тогда перевесят их.

Я смутно помню Волгу и песчаные острова, куда мы ездили купаться, помню лишь низенькие кусты шиповника, где трепыхались желтые платица лимонниц да пестрый наряд больших и малых оранжевых. Я почти забыл улицу, на которой мы жили, она представляется мне в мелькании сачка, которым я пытаюсь накрыть капустницу. Но я отлично помню все девять остановок, так называли в Саратове девять дачных поселков, связанных с городом и друг с другом однокорейной линией пригородного трамвая: там приобрел я лучшие свои экземпляры дневных и ночных бабочек. В городе и на реке водились лишь самые простенькие представительницы этого летучего племени.

Вначале мы отваживались ездить лишь до пятой остановки. Трамваи ходили редко и нерегулярно: чем дальше остановка, тем хуже было сообщение. Порой что-то портилось, и трамваи на долгие часы замирали на путях. Каждая поездка грозила опасностью не вернуться в тот же день в город. И все же мы подавались все дальше – слишком уж скудной добычей дарили меня первые перенаселенные остановки, слишком заманчивым казалось то, что ждало впереди.

Наша отвага была вознаграждена. На восьмой остановке, близ крошечного бочажка, глядевшего из травы темным птичьим глазом, бочажка, из которого бил чистый, хрустальный ключик, я накрыл сеткой медлительного, низко и плавно парящего белого махаона, а несколько позже и его более быстрого уральского собрата. Правда, за этим ловким и стремительным, не боящимся выси летуном мне пришлось немало побегать. Трижды или четырежды терял я его из виду и раз было, совсем отчаявшись, хотел прекратить погоню. Но дразнящим золотым листиком он снова зареял в луче солнца, и снова я кинулся за ним. Наконец, запыхавшийся, потный, растрепанный и счастливый, я предстал перед родителями, отдыхавшими в тени бочажка, с добычей в руке.

– Это аванесе-таланте? – с улыбкой спросил отец. Он разбирался в бабочках не лучше, чем в цветах, но мне стоило бы задуматься над тем, как подчеркнуто произнес он это название.

Несмотря на все мои усилия, коллекция росла медленно. Много бабочек пропадало от моей ручной неумелости. Чтобы бабочка годилась в коллекцию, надо предварительно распялить ее на листе картона. Делается это с помощью узеньких полосок бумаги и булавок. То я слишком грубо распяливал бабочкам крылья, и они обрывались, то бумажные полоски стирали нежную пыльцу, и бабочки выходили из распялки полуголыми, то я слишком рано снимал закрепки, и крылышки складывались, а при повторной моей попытке разлепить их – осыпались. Так погибли и первые мои махаоны, и бесчисленное множество крошечных, особенно нежных мотыльков, и великолепная траурница. Отчаяние мое было так велико, что мама решила везти меня на последнюю, девятую остановку, откуда, по уверению отца, не вернулся еще ни один трамвай. Там приобрел я новую траурницу и новых махаонов и даже молочайного бражника.

Последняя поездка заслуживает особого рассказа.

Отец плохо переносил саратовскую жару, он и вообще плохо чувствовал себя на природе. В городе он был подвижен, оживлен, за городом разом старел, тускнел, начинал задыхаться. Во время наших походов он спал обычно где-нибудь в тени, нехорошо оскалил рот и трудно, с присвистом дыша. Когда девятая остановка вытеснила все остальные маршруты, ему стало не под силу нас сопровождать. Теперь мы ездили вдвоем с мамой, нередко исчеза на целый день. Это было жестоко по отношению к отцу, но что было делать – только на девятой водились бражники.

Однажды мы с мамой забрались очень далеко от остановки. Проплутав в орешнике, мы вышли на широкую проселочную дорогу, и эта дорога привела нас в сосновый лес. Высокие, на подбор, мачтовые сосны стояли одна к одной, голубоватые, прямые, клубящиеся пылинками лучи солнца, как прожекторы, просвечивали их плотный строй. Быть может, оттого, что это были первые сосны, увиденные мною в Саратове, я сразу поверил в удачу.

Я отыскал крепкую палку и, колотя ею по стволам сосен, двинулся вдоль опушки. Сосны коротким, звонким эхом отвечали на удары, с ветвей осыпалось что-то, вспархивало, вызывая во мне сладкую дрожь и озноб, и, наконец, вспорхнуло со ствола – словно крупная шелушина коры ожила, отделилась от дерева и, протрепыхав в воздухе, перелетела на другой ствол и слилась с ним. Лишь на краткий миг в сером трепыхании шелушины мелькнули голубоватые пятнышки, и я уже не сомневался, что это молочайный бражник. Я бросился к сосне, на которую он сел, но бражник так замаскировался, что его невозможно было обнаружить. Я ударил по сосне палкой, – бражник перетерпел, не выдал себя, но на меня кинулся целый рой диких ос, гнездовавших на сосне. Казалось, мне сделали все прививки, от оспы до противостолбнячной. С диким воплем, обронив тапочку и выпустив палку, я бросился к дороге, к маме, но громадные, вислозадые, как кобылицы, осы яростно гудели надо мной, атакуя голову, шею, плечи.

Прохожий человек, тронутый нашей бедой, взялся вызволить мою тапочку. После многих попыток, искусанный с головы до пят, он отбил у свирепых ос их трофей. Затем мама одолжила у него папиросу, и человек двинулся своей дорогой, потирая искусанную щеку.

– Знаешь, – сказала мама, нервно затягиваясь папиросой, – а ведь бражник так и сидит себе на сосне.

Я преданно взглянул на мою безумную мать и двинулся к сосне.

Вернулись мы поздно, к ночи, с каким-то случайным, заблудшим трамваем. Отец ждал нас на улице, у него было черное лицо.

– Папа! – крикнул я возбужденно. – Смотри, чего у меня есть! – И показал ему бражника.

– О! Это аванесе-таланте? – пошутил он с вымученной улыбкой.

Но я не жалел отца. Я думал о том, что моей коллекции не хватает главного – ночной королевы, таинственной и жуткой мертвой головы. Хозяйский сын объяснил мне, что

мертвую голову можно поймать только ночью, на свет фонаря. И начались ночные бдения. Лишь только смеркалось, я выходил с большим жестяным фонарем в чахлый палисадник при нашем доме и просиживал здесь долгие часы, сам, как и фонарь, облепленный слетающей со всего города мошкаррой и мотыльками. Порой на освещенной земле мелькала тень мотылька покрупнее, я вздрагивал и после долго слышал, как стучит во мне сердце.

К полуночи меня все же загоняли в постель, тут даже мама, понимавшая мою муку, становилась беспощадной. Неизжитое возбуждение отыгрывалось чем-то похожим на лунатические припадки. Во сне я вставал и начинал бродить с закрытыми глазами, как сомнамбула. Несколько раз я просыпался на постели хозяйского сына. Наверное, его комната, где в ящичке письменного стола хранилась папиросная коробка с мертвой головой, и была целью этих ночных странствий. Ограбить, что ли, я его хотел? Но, видно, во мне бодрствовали не только двигательные, но и моральные импульсы, в последний миг отводили они меня от преступления и укладывали в кровать рядом с тем, кто должен был явиться моей жертвой.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы я внезапно и навсегда не охладел к бабочкам. Однажды я показывал коллекцию папиному знакомому, тоже ссыльному, биологу по образованию. Он внимательно осмотрел бабочек, затем, оседлав нос очками, стал читать названия, которыми я, как истинный коллекционер, снабдил каждый экземпляр. На лице его мелькнуло изумление, затем он громко расхохотался и снял враз запотевшие очки.

– Что это?.. Откуда?.. – говорил он, промокая щеки носовым платком. – Может быть, я безнадежно отстал от науки, но почему капустная совка переименована в боярышницу и что такое аванесе-таланте? – Он еще раз со вкусом повторил это слово, напомнив мне интонации отца. – Нет, скажи, где ты раздобыл эту классификацию?

– Мне так сказали, – пробормотал я.

– Тебя обманули. Таких бабочек не существует. Есть родваннеса. А-ва-нес же просто армянское имя. А эта вот, запомни, пяденица, а не прядалица, дай я тебе запишу...

Я машинально подал ему карандаш. Исчезли привычные, сросшиеся с моим сердцем названия, которые были для меня как боевой охотничий клич, названия, что стучали в моем мозгу, пружинили мышцы, напрягали нервы, когда, усталый, потный, я продирался сквозь колючий репей, секущую до крови крапиву в погоне за быстрой, верткой беглянкой. Оказывается, не ловил я никакой траурницы, а ловил монашку, может быть, так даже лучше, но открытие наполнило меня чувством невозвратимой утраты, так же как и всевозможные совки, шелкопряды, златогузки, огневки, заместившие моих выстрадавших бражников, мраморниц, больших и малых оранжевых. Отчужденно смотрел я на свою коллекцию, глупым, жалким, обманутым казался я самому себе.

Слишком поздно пришло избавление. Когда меня спрашивают, почему я так рано постарел, почему у меня седые волосы, одряхлевшее лицо, морщины, одышка, почему я и сам, и в том, что пишу, произвожу впечатление крайней усталости, почти изношенности, я могу ответить: все началось с бабочек. Тогда открылось мне, что я могу жить только на пределе, на последней грани; пусть вначале понимание это было бессознательным, лишь позднее облеклось оно в мысль, я тогда уже перестал противиться силе этих разрушительных велений. В разные поры жизни бабочки оборачивались то марками, то «Тремя мушкетерами» – годы вел я двойное существование: одно – как мальчик Сережа, другое – как д'Артаньян, – то бильярдом, то литературой, то женщиной, но каждое обличье этого первого фанатического увлечения ставило меня на край гибели.

Отец угадал разрушительное начало моего характера. Мое неистовство было в корне чуждо его легкой и гармонической натуре. Вначале он пытался негрубо вышучивать увлечение бабочками, потом сделал робкую попытку переключить мой интерес на менее опасные предметы – стадион, цирк, – но, потерпев поражение, смирился. С тех пор и до конца дней появилась в нем крошечная отчужденность ко мне и что-то сострадательное. Отчужденность

шла от угадки во мне не его светлого, а темного, материнского начала; сострадание – оттого, что он любил меня и мучительно жалкой была для него открывшаяся во мне непрочность, гибельность.

Уже когда я крепко стоял на ногах, когда я был его единственной и надежной опорой, когда он, казалось, должен был восхищаться сыном, так цепко оседлавшим незадавшуюся ему жизнь, я не раз подмечал на его лице все то же с детства знакомое сострадательное выражение.

Он восхищался, гордился мной, но не верил в меня. Не верил, читая мои книжки рассказов и даже редкие хвалебные отзывы о них; не верил, когда я, прекрасно одетый, за рулем собственной «Победы», возил его по Москве. Неверие усугублялось тем, что мои рассказы, появлявшиеся в печати, и в самом деле казались отцу слабоватыми, а не принятые в печать ему, воспитанному на классике, были глубоко чужды и огорчительны. От них веяло на него тем же чуждым, враждебным, разрушительным духом, противным всякому внутреннему порядку.

Все в человеке происходит сложно и непрямо. Порой, прослушав по радио мою передачу о запечатленных в сталинской конституции высоких правах советского человека или прочтя в «Труде» мою статью о задачах планирования, отец несколько успокаивался и готов был отнестись ко мне с большей верой, но тут я подсовывал ему какой-нибудь очередной сокровенный рассказ, и все шло прахом. Испугал его, огорчил и усугубил неверие в меня мой развод и то, что у меня нет детей, – во всем видел он действие все той же губительной силы.

Бедный отец не понимал, что разрушительные силы приведут меня не к катастрофе, а к самому обычному концу: по изжитии своего века к добропорядочному инфаркту или раку.

И сколько я ни пыжился, ни задавался для его же пользы, сколько бы ни старался казаться уверенным и крепким борцом, человеком с точным расчетом времени, целей и средств, он по-прежнему проглядывал сквозь мои меняющиеся блистательные личины одержимого, потного, несчастного мальчишку, измученного погоней за недостижимым.

5. Вместе и врозь

Перед окончанием саратовской ссылки отца нашу квартиру в последний раз огласили охрипшие звуки «Милого Ганса»: это значило, что мать избавила отца от следующего круга Дантова ада, именуемого «минус три». Этот «минус» исключал для отбывшего двойной срок наказания возможность поселиться в Москве, Ленинграде и Киеве.

Я хорошо помню торжественный день встречи отца. Я задолго готовился к ней. В ту пору моей жизни и бабочек, и уже отжившее мушкетерство заменила география. На все деньги, перепавшие мне от мамы, я скупал географические карты. В день рождения и в другие праздники я не принимал иных даров, кроме карт, атласов, глобусов. Карты и атласы были той данью, какой облагался друг моей матери, ставший впоследствии моим отчимом. Вся моя большая, с высоченными стенами комната была увешана картами. Там были огромные, в несколько квадратных метров, карты земного шара и всех пяти материков, карты всех стран мира, вплоть до карликового государства Андорры, красивая, многоцветная карта земной флоры и фауны, с тигром, пробирающимся сквозь лианы, с обезьянами, скачущими с ветки на ветку, со слонами, бегемотами, носорогами, львами, птицей-лирой, утконосом, кенгуру, ленивцем; с пальмами и сухим ягелем, с тропическими лесами и нашим березняком и ольшаником. В глобусах, от крошечного, настольного, с апельсин, до голубого, блестящего, как зеркало, гиганта, стоящего прямо на полу на длинной черной ноге, отражались выпукло-изогнутые окна. Верно, отца вполне и до конца дней удовлетворил бы этот простор вселенной, заключенный в коробочку комнаты, но жизнь распорядилась иначе: его ждало еще много страшных российских просторов, и мне предстояло следовать за ним.

У меня был закадычный друг Вадик. Чуть странный, чуть сумасшедший и бесконечно мне преданный. Его я тоже готовил к встрече с моим отцом, этим дивным человеком, сказочной физической силы, разительного остроумия, героя прошлой войны, и прочая и прочая.

Настал наконец день, когда мама, Дашура и я отправились на Павелецкий вокзал. Я так раздутил себя, что, кажется, и впрямь ждал: из вагона появится богатырь, грудь в крестах, – и, верно, испытал бы разочарование, увидев живую, плотную, маленькую фигурку отца. Но то, что перед нами предстало, потрясло меня до отчаяния. Усохший вдвое, с седыми, запавшими, будто всосанными щеками и непривычно вытаращенными стеклянными глазами, бедно, почти нищенски одетый, странно-равнодушный и чужой – таким вышел из вагона мой отец, волоча в бессильно опущенной руке какой-то грязноватый мешок. Мы не знали из сдержанных писем отца, как тяжело дались ему последние два года. Ему давно стало известно, что с Саратовом его ссылка не кончается, он не верил, что мама и на этот раз сумеет чего-либо добиться. Разлука без конца и края сломила его физически и душевно, он опустился, у него открылась циклотимия.

Тогда я ничего этого не знал, если б и знал, горе мое оттого не стало бы меньше. Отца подменили, я был страшно и жестоко обманут. Я кинулся вон с вокзала и у контроля столкнулся с Вадиком: мой друг приехал на встречу, но из деликатности держался в стороне.

– Едем, – только и сказал я ему и побежал к трамвайной остановке.

С присущей ему редкой душевной тонкостью, Вадик ни о чем не спросил меня...

Дома, когда побрившийся, искупавшийся в ванне, пере одевшийся отец принял чуточку прежний свой вид, я не мог все же заставить себя к нему подойти. Я отводил взгляд, односложно отвечал на его вопросы и все норовил ускользнуть из комнаты.

– Смотри, Сережа отвык от тебя, – мимоходом бросила мама.

Нет, я не отвык, я стыдился этого самозванца, присвоившего имя и права моего замечательного отца.

Лишь поздно вечером, когда перед сном он подошел ко мне и поцеловал в голову и я ощутил знакомое прикосновение и увидел его маленькую смуглую руку, так похожую на мою руку, на меня пахнуло чем-то таким родным, таким единственным, таким близким, что на неслышном, подавленном всхлипе я раз и навсегда принял этот новый, изменившийся, дорогой образ отца.

Отец прожил с нами недолго. Сразу по возвращении его направили в санаторий для нервно- и психически больных с гордым названием «Мцыри». Там он пробыл два месяца. Мы с мамой в это время уехали на лето в деревню. А затем осенью, едва семья съехалась, началась «паспортизация», и отцу, как бывшему ссыльному, в московском паспорте было отказано.

Отец выбрал для жительства поселок Бакшеево – центр обслуживающих Шатурскую электростанцию торфяных разработок. В ту пору это была страшная глухомань. Пассажирский поезд ходил только до Шатуры, оттуда надо было добираться рабочей узкоколейкой, затем на вагонетках торфяной кукушки. Казалось бы, отцу следовало выбрать Калугу, Тамбов или какой-нибудь иной город, связанный с Москвой напрямую. Но он именно потому и выбрал Бакшеево, что эта торфяная дыра не была городом. И Шатура не была городом; не были городами и ближние населенные пункты – Рошаль, Черусти. Городом для этого торфяного края была Москва, тем более что Шатурский район входил в Московскую область. Живущий там человек с известным правом мог считать себя москвичом. А отец не признавал никаких городов, кроме Москвы. У него к Москве была такая же страсть, как у славянофилов. Но если для девственного Константина Аксакова Москва была чем-то вроде вечной невесты, то для грешного отца – многоликой женой, с Москвой связывалась для него самая романтическая, победная, бурная пора его жизни.

Много позже, уже взрослым, я познакомился с отцовской географией Москвы, по-новому окрасившей для меня улицы, бульвары, парки и переулки этого города.

Когда отец говорил «Сокольники», он видел не заплеванный парк с пивными киосками, хулиганами и потрепанными велосипедистами, а нечто вроде Булонского леса, где под сенью деревьев он любил Эльзу К. Чистые пруды – кошмар моего детства: там меня постоянно и жестоко избивала чистопрудная шпана – были овесаны для него памятью о его первой большой любви к Лиле К. – сестре Эльзы. А так как отец любил много и щедро, то не было почти такого уголка в городе, который не вызывал бы в нем поэтического отзвука.

Чтобы не утратить Сокольники и Чистые пруды, сестер К. и счастливую свою юность, отец выбрал Бакшеево.

В Бакшееве он быстро пошел в гору. Приехав на должность рядового экономиста, он уже через год был начальником планово-экономического отдела торфоуправления. Он обладал громадной, не тронутой до сих пор трудоспособностью, ясным и быстрым умом, скромным честолюбием, и работа его захватила.

В Бакшееве произошло с отцом еще одно неожиданное превращение: он стал «энтузиастом» в том высоком смысле, каким исполнено было это определение в пору подъема и чаяний второй пятилетки. К своей вере он пришел не умозрительно, как иные, он «вработался» в нее, впервые оказался причастен к настоящему, горячему делу. Этому способствовали беззлобие, интеллигентская жертвенность и презрение к капитализму – плод юношеского увлечения марксистской философией.

За пять лет, проведенных отцом в Бакшееве, мы виделись нечасто, но регулярно. Он работал без выходных, а потом брал сразу три-четыре дня «отгула» и приезжал в Москву. Эти дни были для меня светлым праздником. Разрушительное, бродяжье начало отчима выдувало всякий быт из нашей жизни, всякий намек на уют и душевный покой. А я был тогда очень бытовым человеком, и меня радовало, что с приездом отца каждодневность приобретала тот оттенок торжественности, которая украшает жизнь настоящих семей, что завтрак,

обед и ужин становились ритуалом, что в простейшие вещи – будь то послеобеденный отдых, прогулка, посещение кафе, отход ко сну – вкладывался вкус.

Отец приезжал утром, и тут же, словно по мановению, возникала большая, горячая, пышная лепешка (почему-то с тех пор эти лепешки навсегда исчезли из моей жизни), громадный, нежный омлет с розовыми крапинками мелко наструганной ветчины, кофе со сливками. Мы садились к столу, и мама объявляла, что сегодня я не пойду в школу.

В этом была вторая огромная радость отцовских приездов. Глубокая, страстная, мрачная ненависть к школе была едва ли не самым мощным из всех изведанных мною чувств. Как бы то же увлечением, но наизнанку. Я бесконечно изощрялся, чтобы пропускать школьные занятия, и буквально изнемогал в этой вечной борьбе со школой. Приезд отца освобождал меня на какое-то время от этой борьбы, я получал задаром то, что стоило мне обычно многих мук и претивших мне хитростей.

Вместо школы я отправлялся с отцом в Музей изящных искусств. В первый раз мы попали туда случайно, но затем эти посещения стали для меня необходимостью. Музей со всем, что его наполняло, переносил меня в мир, бесконечно далекий от грубого мира школы. Форнарина с ее дивными бараньими глазами не могла существовать в одном пространственном измерении с ненавистной Калерией Викторовной, нашей классной руководительницей; пейзажи Коро и Рейсдаля – с пейзажем Чистых прудов, где находилась моя школа. Священная тишина залов словно навсегда исключала безобразный хаос школьных перемен, а печальный покой Ватто – ту оскорбительную тревогу, всегдашнюю готовность к оскорблениям и унижениям, в какой держала меня школа. Тогда я не понимал этого так, как понимаю сейчас. Я думал, что обожаю живопись, на деле же ненавидел школу.

Едва ли отец получал большое удовольствие от этих походов. Он был равнодушен к живописи, к тому же быстро уставал. Тем не менее он всегда предлагал мне проделать обратный путь пешком, если не до самого дома, то хотя бы до Театральной площади. Мы шагали по московским улицам, у отца делалось счастливое лицо. Зимой, летом, в осеннюю слякоть или в весеннюю хлябь он всегда радовался Москве, всегда находил для нее нежное слово. То и дело отвечал он на приветствия и сам приветствовал знакомых, от «некогда очень красивой женщины» и до старого парикмахера, державшего для отца в прошлом отдельный прибор...

Меж тем приближался незабываемый тысяча девятьсот тридцать седьмой год.

У многих народов существует сказание о маленьком острове, населенном небольшим добрым народом, над которым тяготеет страшное проклятие: что ни год, жители острова должны отдавать стоглавному чудищу красивейшую из своих девушек. Сходное проклятие тяготело над маленькой нашей семьей. Каждая очередная «кампания» требовала от нас кого-либо в жертву. Еще не занялась заря тридцать седьмого года, а уже посадили отчима: он стал чем-то вроде Иоанна Предтечи ежовщины.

И вновь будто посланцы далекого детства зазвучали в нашем доме слова: «Лубянка», «передача», «свидание», – последнее с добавлением «не дают».

Отец удвоил свою заботу о нас, присылал нам почти всю свою заработную плату, премиальные, отпускные, и непонятно, на что жил сам. Он стал чаще приезжать к нам, но весной, когда начался квартальный отчет, не смог приехать даже ко дню моего рождения. Он только прислал письмо и денежный подарок. Тем нетерпеливее ждали мы его к майским праздникам. Тридцатое апреля пришлось на воскресенье, Дашура спозаранку изжарила лепешку и приготовила яйца для омлета, но отец не приехал.

Поезд из Шатуры приходит в восемь тридцать утра, от Казанского вокзала до дома не более полчаса езды. Наутро Первого мая мама, папин брат Боря и я с девяти часов стояли на балконе, поджидая отца, который должен был вот-вот появиться из-за угла Телеграфного переулка. Но вот уже десять часов, а его все нет. Мы не на шутку встревожились. Наконец я увидел вдалеке знакомое коричневое кожаное пальто и серую кепку.

– Вон он! – вскрикнул я.

– Не говори глупостей! – резко одернул меня дядя Боря.

Зрение у меня было куда острее, чем у дяди, почему же от его резкого окрика я сразу поверил в свою ошибку? Кожаное пальто и серая кепка приблизились и обернулись незнакомым, но удивительно похожим на отца человеком. Тот же рост, та же походка, те же широкие плечи, спина, ну совсем бы чуть-чуть, и это был бы отец. Сколько лет прошло, а до сих пор владеет мною странное и, при всей его нелепости, неистребимое чувство вины за то, что человек этот не оказался отцом. Немного больше веры, готовности к чуду, какое-то внутреннее усилие, и это был бы отец. Но я дал сбить себя с толку, проявил малодушие, слабость, не дотянул на волос и выпустил из рук судьбу дорогого человека.

Долго еще стояли мы на балконе. Мы ждали его до позднего вечера, твердо зная, что ему не на чем уже приехать в Москву. Вздрагивали при каждом звонке, при всяком шуме в передней. Ждали и на другой день, и в следующие, когда кончились праздники. Обманывая самих себя, мы негодовали, почему отец не предупредил нас телеграммой, что не сможет приехать. Или с озабоченным видом говорили: быть может, он заболел? А может, его задержал проклятый квартальный отчет?..

Мы продолжали играть в эту жалкую игру вконец растерявшихся людей, хотя давно уже знали *все*. Мы не знали только – когда?..

После поездки мамы и дяди Бори в Бакшеево выяснилось и это. Отца арестовали двадцать седьмого апреля, в дни предпраздничной чистки, ставшей с тех пор на многие годы традицией.

6. Страх

Мы остались вдвоем с мамой. По утрам мама носила отчиму на Лубянку передачу, деньги, тщетно добивалась свидания, в остальное время худыми пальцами выколачивала из дряхлого «Ундервуда» прокорм для нашей маленькой семьи. Непривычная бороться с жизнью в одиночку, она нашла вскоре тот единственный выход, какой ей оставался. Врачи говорили: «Малярия», но лишь потому, что надо же как-нибудь обозначить болезнь, от которой человек таял, как сахар в кипятке.

Ртуть в термометре не опускалась ниже 40 °С, и я впервые подумал о том, что могу остаться один на свете. И вместе с невероятной жалостью к матери я почувствовал в себе новую, странную силу, – силу отказаться от жизни, если умрет мать. Я представил себе это так отчетливо и просто, что, зная, сколько таится во мне слабости и нерешительности, был удивлен бесконечной сложности и неисчерпаемости своего существа, способного и на такие решения.

И тогда мне захотелось разобраться в неведомом мире собственной личности. Мое первое литературное произведение называлось последней буквой алфавита – «Я». Мне нравилось писать о своих слабостях, недостатках, пороках, о самых жалких проявлениях своего характера, ведь все освещалось и оправдывалось последним решением.

...Было около часа ночи. Мертвенная тишина царила в большой и беспокойной общей квартире, когда колокольчик у входной двери тренькнул один раз. «К нам», – механически отметил мозг. В следующий миг я отложил карандаш и отодвинул густо исписанные листы. В такую позднюю пору никто не мог к нам прийти.

Что же не открывают? Колокольчик тренькнул еще раз, решительно, но без раздражения. «За нами», – подумал я и улыбнулся дикости происходящего.

Мать лежала в забытии, откинув руку на лоб. Согнутая в локте рука, такая белая, такая желтая, походила на крыло вареной курицы, под чуть пупырчатой кожей обрисовывались неправдоподобно тонкие косточки. Эту руку особенно трудно было примирить с тем, что должно было случиться сейчас.

Я вышел в коридор. Какая тишина за дверьми соседей. Оказывается, люди могут обходиться даже без дыхания. Кухня, освещенная тусклой лампочкой, выглядела огромной со своими незримыми в сумраке углами. Черный, прокопченный потолок казался дырой в ночь. Но белый кафельный сундук плиты был милым и уютным. В трещинах кафеля друг на дружку спали тараканы. И почему-то вид этой плиты отнял у меня всякое мужество.

Я закрестился и зашептал, как в детстве: «Миленький боженька, сделай, чтоб только не это. Миленький боженька, ты же видишь, что с мамой, ну, ради мамы, все, что хочешь, только не это...»

И я неотрывно смотрел на черный, тоже прокопченный колокольчик, висящий так спокойно и тихо, словно и не звонил только что.

«Миленький боженька...» Я не dokonчил, тронутый внезапной надеждой, но тут же увидел, как ножка колокольчика чуть приподнялась, замерла на какой-то краткий миг, затем снова припала к стене, и язычок коротко звякнул о металл.

«Миленький боженька, дорогой, самый любимый», – забормотал я, громко выкрикая отдельные слова, в то время как мои сложенные в щепоть пальцы больно колотили по лбу, груди и плечам. «Милый боженька, если уж это так нужно, если иначе никак нельзя, сделай, чтоб не меня, пусть одну только маму, любимый боженька, ну, сделай так, чтоб только не меня!...»

Словно в ответ, колокольчик ударил еще раз, и я, чтобы ускорить развязку, откинул крючок и с силой распахнул дверь.

Площадка, едва высвеченная лунным светом, была совершенно пуста, если не считать кошки, стремительно пронесшей над лестничным пролетом два изумрудных глаза.

Ветер медленно и беззвучно поводил оконной рамой с разбитыми стеклами, и, зацепившись за шпингалет, веревка дергала колокольчик.

Черный колодезь двора, лишь поверху тронутый слабым, ущербным месяцем, был тихо-пустынен, а на дне колодца гигантским плевком серебрился круг самодельного катка.

Все спало за темными окнами, мир по-прежнему был без опасен, и все же он стал иным, чем несколько минут назад.

В оконном стекле я видел свое лицо. Оно выступало из темной глуби, розовея, до слез близкое, родное и вместе чужое лицо. Я улыбнулся ему странной, кривой, не своей улыбкой.

Томительное, острое чувство утраты и непонятого освобождения владело мною. Лишь однажды в жизни довелось мне еще раз испытать сходное чувство, но в ослабленном, словно полинялом виде – при первой близости с женщиной. В переживании первой любви не было той остроты и силы перерождения, как в первом предательстве.

Страх у кухонной двери, этот первый серьезный, взрослый страх, открыл мне действительную сложность моей натуры. Это очень важный шаг на пути к зрелости – первое, пусть воображаемое, предательство.

7. Егорьевск

Мы узнали, что отец находится в егорьевской тюрьме, и в июне 1937 года, после долгих бесплодных хлопот, мать получила наконец разрешение послать ему передачу.

Закупив все необходимое, мы выехали в Егорьевск маленьким, душно вонявшим дезинфекцией пригородным поездом. Около пяти часов тащились мы по грустному, голому, но все же милому свежестью молодой зелени простору, освещенному тихим солнцем, мимо заболоченных вырубков и ржавцов, мимо скудных березовых рощиц и крошечных станций. На душе у нас было печально и светло. Мы чувствовали лиризм своего одиночества, своего горя и своей верности нашим узникам. Похудевшее после болезни мамино лицо было прозрачным, тонким, непрочным. Иногда мы улыбались друг другу, словно опробывая связующую нас нить.

От станции к городу вели длинные, километра в полтора, шаткие деревянные мостки, провисшие над ярко-зеленым болотом. Тюрьму мы отыскивали сразу, она помещалась в старом монастыре, стоящем на поросшем молодой травой бугре. Вокруг тюрьмы, молчаливо признав ее своим центром, рассыпал город скучные деревянные домишки и приземистые бараки.

Зеленый вал от подножия до стен монастыря был усеян нашими товарищами по несчастью. Были среди них и печальные дамы в старомодных соломенных шляпках с линялыми цветочками, и старые московские интеллигенты в брюках-дипломат и коротких коверкотных пальто, и колхозники в лаптях, похожие на коровинских богомольцев. Всю эту разношерстную толпу объединяла молчаливая, покорная растерянность. Будут ли или не будут принимать передачи, никто не знал. Затем как-то вяло протек слух, что в пять часов начальство объявит свою волю.

Мы пошли бродить по городу. Мне довелось видеть много невеселых среднерусских городов, но ни один не производил такого безрадостного впечатления, как Егорьевск. Город старинный, но нет в нем ни уюта, ни приветливости старины, ни трогательности, ни мечтательности. Какой-то он весь голый, необжитой. Голы дома, даже не обнесенные палисадниками, голы лишенные деревьев пыльные улицы, гол, как лысина, скверик у кино с вытоптаным газоном и усохшими, потерявшими листву метелками кустиков. Мы долго мыкались по широким пустынным улицам, пока набрали наконец на маленький зеленый оазис, где билась свежая жизнь. То был двухэтажный особнячок в тени старых пахучих лип. Здесь былолюдно, шумно и весело. На двери особняка висела металлическая дощечка с надписью: «Народный суд».

Мы вошли. Большой нарядный зал с позолоченной люстрой был полон народа. Слушалось дело об алиментах.

Ответчик, молодой еще парень, с глупым, рябоватым, лошадиным лицом, в новом пиджаке и при галстуке – узел галстука чуть не подпирал ему подбородок, – держался с независимой мужской грацией.

– Ничего не знаю, – твердил он, шаря глазами по стенам и потолку. – Мы с ей чисто по-товарищески вращались.

Истица, худенькая, с испуганным, желтым личиком, вела себя так неуверенно и робко, словно и сама не верила, что этот роскошный холуй в самом деле одарил ее своей близостью. Она не плакала, как-то тихо сочилась слезами. На вопрос судьи, при каких обстоятельствах сделал ей ответчик ребенка, она чуть слышно проговорила:

– На мосту, где ж еще. – Подняла голову и впервые улыбнулась.

Но самым любопытным на суде была не эта пара, а маленькая черноглазая, худо одетая девочка, по виду разнорабочая, принимавшая во всем происходящем необычайно живое

участие. Она то и дело подавала реплики, подсказывала истице, перебивала ответчика и в конце концов вступила в спор с судьей. Спор завершился тем, что ее оштрафовали на двадцать пять рублей. Но девчонка не уgomонилась и после этого: не успел суд удалиться на совещание, как она громко крикнула жене ответчика, под стать ему рябоватой, крупной и тяжелой в кости молодайке:

– Ну, Маня, теперя тебе Колька не нужный. Четверть снимут – не гуляй зазря! – А затем, повернувшись к сидящей рядом со мной женщине: – До чего ж я эти суды люблю!.. Поглядишь на чужую жизнь, вроде бы и сама пожила!..

Мы снова вышли на улицу. Больше в городе смотреть было нечего – тюрьма и суд, вот два места, где сосредоточивалась его жизнь. Мы поплелись назад к тюрьме. Зеленый обод вокруг высоких каменных стен был по-прежнему усеян людьми, большинство спало, кто лежа, кто сидя, но каждый и во сне придерживал рукой свою посылочку.

Я глядел на них и думал: что за странная условность согнала сюда со всех концов Московской области этих разных людей? Кто-то и зачем-то, словно ножом, рассек народное тело, объявив одну его часть виновной перед другой. Но и сидящие там, за каменной стеной, и томящиеся тут, под стенами, равно знают, что никакой вины нет. Знают это и те, что охраняют заключенных, и те, что арестовывали их, и те, что обвиняли их в несовершеннолетних преступлениях; знают это и те, что будут судить их и засудят, и те, что погонят их по этапу, и те, что с винтовкой в руках обхаживают колючую ограду лагерей. Знают все, от мала до велика, от ребенка до старца, но, словно сговорившись, продолжают играть в эту зловещую игру.

Около шести вечера ворота тюрьмы приоткрылись, и грубый голос коменданта гаркнул:

– А ну давай, что ли!..

Нас давили, толкали и мяли, и мы тоже давили, толкали и мяли, и все это почти в полном остервенелом молчании. Как и все, мы сдали свою передачу, затем, опустошенные, будто обманутые в чем-то, поплелись назад к станции.

Там, где мостки делают крутой поворот, перед нами, в широком распахе, открылся монастырь-тюрьма, облитый розовым закатом. И почему-то лишь сейчас, после целого дня, проведенного возле тюрьмы, я почувствовал вдруг, что там, за стенами, так близко и так недостижимо, находится мой живой отец, с его смугловатым, монгольским лицом, с его улыбкой, его словечками, его неумелыми маленькими руками, – родной, бедный человек, которому я ничем, ничем, ничем не могу помочь.

Верно, и мама испытала сходное чувство, она старательно отворачивала лицо, но я видел, как морщилась ее щека. А затем было долгое ожидание поезда, и три огня, налетевшие из сгустившейся тьмы, и грубая толкотня посадки, и тьма, и духота вагона, и отчаянная усталость на выходе, когда, казалось, не станет сил добраться до дома. А потом было счастье, неслыханное, небывалое, ошеломляющее. Дверь нам открыла Дашура, непривычно чистая, прибранная, с выбритой верхней губой, в новом фартуке, она молча распахнула дверь в мамину комнату, и нас ослепил стол, застланный белейшей, туго накрахмаленной скатертью, на столе среди всевозможной снеди, от зернистой икры до шоколадных конфет, искрились бутылки дорогих вин. И раньше, чем мы успели осознать случившееся, из темной глубины комнаты в свет, в жизнь, в наши души ступил освобожденный из тюрьмы отчим. И впервые поверив в Того, Кому я так часто молился, я шагнул в отгороженный шкафом угол комнаты, где на стене висел фарфоровый умывальник, проговорил: «Миленький боженька!..», но, потеряв все слова, припал лбом к холодной глади умывальника и зарыдал.

...Через три месяца отца судили. Суд, пусть при закрытых дверях, был редкостью в то время. Подобные дела обычно решались в застенках Лубянки. Отец удостоился чести быть судимым, потому что его виновность не вызвала сомнений.

В канун майских праздников отец трудился над составлением квартального отчета. Его сотрудники были заняты обычным предпраздничным бездельем: развешиванием гирлянд, лампочек, портретов. Когда в его кабинет внесли третий по счету портрет, отец, выведенный из терпения, сказал, что портретами квартальному отчету не поможешь. И все.

Следствие затянулось – попутно отца обвинили в поджоге торфяных разработок. Хотя во время торфяного пожара отец находился в Москве, следователь упорно отказывался считать это доказательством его невиновности. У отца открылось тяжелое психическое заболевание, его поместили в Институт судебной психиатрии. Там его подвергли строжайшему исследованию, даже прокололи его бедное тело, чтобы взять спинномозговую жидкость, после чего признали психически здоровым. По счастью, следователь успел за это время подыскать другого «поджигателя», не сумевшего бежать в болезнь, и отец стал для него неинтересен. Дело передали в суд.

Мама, отчим и дядя Боря, продежурив целый день у подъезда суда, видели, как выводили отца по окончании слушания дела.

– Семь и четыре! – счастливым голосом крикнул отец.

Это означало: семь лет лагеря и четыре года поражения в правах. Перед тем как захлопнулась дверца «черного ворона», отец с тем же радостным видом помахал им барашковой шапкой. Он был уверен, что его приговорят к расстрелу.

8. Ленинград

Зимой сорокового года я получил разрешение свидеться с отцом. Он находился в ту пору в лагере под Кандалакшей, в местечке Пинозеро. С двумя большими чемоданами, набитыми вкусной едой и теплой одеждой, я отправился в Ленинград, чтобы пересесть там на «Полярную стрелу».

Я ехал в эту дальнюю поездку, дальнюю не столько расстоянием, сколько необычностью конечного пункта, расположенного за Полярным кругом, в это первое в моей жизни самостоятельное путешествие, без живого, ощутимого представления о встрече с отцом. За три года я отвык от него, к тому же из мальчика я стал мужчиной, из школьника – студентом, из неуверенного, мнящегося бумагомарателя – профессиональным литератором и предполагал найти в нем что-то новое, незнакомое мне. Предстоящая встреча была уравниванием с одним неизвестным, и я никак не мог решить его. Порой, лежа на верхней полке мчащегося сквозь зимнюю, метельную ночь поезда, я представлял себе вдруг, что встречу своего прежнего, московского, иркутского, саратовского, папу, и меня обдавало теплом и нежностью, но мое изменившееся «я» тут же вносило в это представление какую-то поправку, знакомый образ расплывался, исчезал, оставляя после себя неприятную пустоту и холод, и в конце концов я совсем перестал думать о цели своей поездки. Я просто ехал, куда, зачем – неизвестно. Поезд раскачивался, дрожал, лязгал буферами, то убыстрял, то замедлял ход, за окнами пробегали огоньки, и в этом движении, в этой тряске, в этих набегающих и исчезающих огнях был весь смысл моей поездки. Иного я не знал.

Заснул я под утро и не успел вработаться в сон, как захлопали двери, вагон словно продуло сквозняком, и в знобящей свежести вошло в меня: «Приехали – Ленинград».

Сдав чемоданы в камеру хранения, я вышел на привокзальную площадь. Меня поразило, что Московский вокзал – точная копия нашего Ленинградского. Города открываются человеку по-разному, иногда с первого взгляда, иногда для этого нужна долгая жизнь. Я очень много ждал от Ленинграда, подобное чувство всегда соседствует с противоположным, и потому я был настроен на неприятие города. Я бессознательно сопротивлялся тому новому, волнующему, сильному, что мог внести Ленинград в мою жизнь.

Вокзал оказался своего рода амортизатором, он как-то сразу поставил город в разряд привычных вещей. «Ничего страшного» – так можно определить ощущение, с каким двинулся я вверх по Невскому проспекту. Любопытно, что Невский я отыскал безотчетно, не спутав его ни со столь же широкой Лиговкой, ни с другими улицами, выходящими на вокзальную площадь, так же безотчетно угадал я и верное направление: к Адмиралтейству.

День был серый, пасмурный, похожий на наши московские сумерки. Я шел по Невскому, радуясь, что я один в чужом городе, сам себе голова, что город спокойно и просто принял меня в себя, что, на худой конец, позади знакомое здание вокзала, от которого прямая, длиною в ночь, дорога ведет к другому такому же зданию, но уже в моем, привычном мире.

Уравновешенный, самостоятельный путешественник заходит в кафе, заказывает омлет с ветчиной и сосиски, стакан какао и стакан кофе со сливками, съедает и выпивает все это, расплачивается и идет дальше, еще более уверенный в себе, ничего не страшящийся.

Он спокойно радуется коням Клодта, снисходительно узнает Казанский собор, но блеск Адмиралтейской иглы, зажегшийся вдруг в январской хмари, слишком остро колет его в сердце. Он не замечает, что шаг его делается быстрым, дыхание прерывистым, что он почти бежит, натываясь на прохожих и забывая извиниться, что он уже схвачен, заколдован этим городом, схвачен и заколдован навсегда, на всю жизнь.

Когда я ехал в Ленинград, то думал, что увижу красивые здания: дворцы, соборы, колонны, памятники побед. Но мне открылось нечто неизмеримо высшее: город как художе-

ственно организованное пространство. Меня восхитило и Адмиралтейство, и Зимний дворец, и здание Биржи, и арка Главного штаба, но куда больше волновало меня то, что открывалось между зданиями, в просторе арки, те перспективные прогляды – не знаю, как сказать иначе, – которыми на каждом шагу дарит Ленинград. Вторые и третьи планы – вот наиболее великолепное в этом городе, вот что делает Ленинград неисчерпаемым. Он построен не из камня, вернее, не только из камня: из неба, воды и воздуха, а это вечно обновляющийся материал...

9. Дорога на север

Утро застало меня на второй полке жесткого некупированного вагона «Полярной стрелы». Я открыл глаза и снова закрыл их, почти ослепленный нестерпимо ярким светом, пронизывающим вагон из окна в окно. Вокруг нас пламенели в оголтелом блеске солнца не белые, а огнистые, мерцающие, швыряющие пучки золотых стрел, неправдоподобные снега. Порой, забивая даже их неистовый сверк, вспыхивали серебристые зеркала скованных льдом озер. Я вспомнил о цели своего путешествия, и совсем невероятным представилось мне, чтобы из этой сверкающей пустоты, снегов и льда мог возникнуть отец. Напрасно пытался я думать о Ленинграде – пронизанная светом пустота вокруг меня не желала поступиться и частицей своей власти. Она владела своей жертвой безраздельно, вытесняя из нее даже память. Так лежал я без мысли и чувства, сам пустой, как этот простор, и незаметно для себя задремал.

Мой сон длился не более часа, но, когда я вновь открыл глаза, все вокруг неузнаваемо изменилось. За окнами лежали сероватые, погасшие снега, над ними, словно их продолжение, выгибалось мутно-белесое небо, чернели редкие низкорослые сосенки и, будто кружочки свинцовой чайной обертки, тускнели пятаки озер. Сумеречно было в вагоне, на нижней полке, наискось от меня, летчик в меховых унтах лапал худенькую молодую женщину в черной шелковой юбке, под которой обрисовывались острые коленки, в коротком жакетике и съехавшем на плечи шерстяном платке. Накануне, разыскивая свою полку, я обменялся с этой женщиной несколькими словами. Она ехала из-под Саратова на свидание с мужем, отбывавшим заключение в Сорокском лагере, и в Ленинграде сделала четвертую пересадку. У нее не было денег на постель, она провела ночь, свернувшись клубочком на голой скамье, подложив под голову плетеную корзинку. Эту корзинку с гостинцами для мужа она придерживала еще и руками, ломко вывернув их в запястье.

Летчик, хмельной, краснолицый, с тяжелым, свистящим дыханием, упорно и планомерно вел атаку. Очевидно, он знал, что ей сходить в Сороке и времени у него в обрез. Вначале, по наивности, мне казалось, что эта маленькая, решительная женщина успешно пресекает все его поползновения. Она била его по рукам, отталкивала, резко высвобождала плечи, порой вскакивала и с сердитым видом отходила к окну в коридоре. Но потом я заметил, что после этих схваток, кончавшихся, как мне казалось, ее победой, летчик неизменно завоевывал клочок жизненного пространства. Еще три-четыре ее победы, и одна рука летчика проникла к ней за пазуху и заворочалась там, лоя маленькие груди, а другая сквозь ткань юбки нащупала лоно. Я ждал, что она закричит, призовет на помощь, и уже прикидывал мысленно свое участие в предстоящей свалке, но она сидела тихо, оборотив лицо к окну с видом полного непричастия, затем вдруг вырвалась и пошла по коридору в тамбур. Летчик шумно вздохнул и последовал за ней.

Когда они вернулись, было ясно, что она одержала последнюю и решительную победу над летчиком. Его красное лицо побледнело, глаза задернулись сонной влагой, он зевал и отдувался. Казалось, они раззнакомились. Он сразу завалился спать, сыто захрапев, а она с озабоченным видом принялась перебирать свою корзинку. Только раз отвлеклась она от своего занятия, чтобы поправить на летчике сползшую шинель. А затем была большая станция Сорока, гурьба пахнущих морозом мужчин, отчаянно и радостно хлынувших в вагон, и срывающийся, взхлеб, крик маленькой женщины, крик любви, жалости и счастья:

– Вася!..

И долгое, долгое объятие.

Подхватив на плечо плетеную корзинку, небольшой, коренастый, усыпанный веселыми веснушками, Вася гордо и счастливо повлек к выходу свою «верную» подругу.

Теперь за окном бежали сопки, поросшие карликовыми соснами, промелькнула станция «Полярный круг», скоро и мне сходить, а я все не могу поверить, что эти дали, снега, вся эта чужеродность обернутся отцом.

С таким ощущением, будто играю в какую-то странную игру, выволок я чемоданы в тамбур и, когда поезд причалил к маленькой, занесенной снегом платформе, спрыгнул вниз. Я не успел оглядеться, как вокруг зазвучал звонкий женский смех, замелькали молодые, милые женские лица, меховые шубки, шапочки, шелковые чулки, ботики. Это было похоже на сказку. Чуждый, враждебный мир неожиданно окунул меня в тонкую, благоуханную атмосферу женственности. Откуда, кто они, так легко и празднично одетые, что делать им в этом суровом, невеселом месте?

– А ну, посторонись! – послышался крик, и мимо моего лица мелькнул приклад винтовки. Я шарахнулся в сторону. Между мной и стайкой женщин оказалась полоска пространства, и теперь со стороны я увидел, что такая же полоска отчуждения отделяет их ото всех и вся на платформе. И тут нет никакой отвлеченности: нарядная, смешливая, щебечущая стайка женщин окольцована конвойными с примкнутыми штыками.

– Сергей Дмитриевич! – услышал я вкрадчивый голосок. – А меня ваш батюшка прислал.

Передо мной стоял небольшой мужичонка в тулупе, справных валенках и шапке с лисьей опушкой. Широкоскулый, хитроватенький, с редкой бородачкой, он напоминал коненковского полевичка. Не удивившись ни его появлению, ни тому, что он знает меня по имени, я спросил, кто эти женщины.

– А, указницы, – сказал полевичок. – Это которые на работу опаздывали... Давайте-ка ваши чемоданчики.

Я отдал ему чемоданы. Не так давно был опубликован указ о том, что вторично опоздавшие на работу свыше двадцати минут будут караться заключением в исправительных лагерях сроком на один год. Я и в мыслях не допускал, что указ будет применяться на практике. И вот я увидел его в действии. Похоже, и женщины не очень-то верили, будто все это всерьез. Иначе разве пустились бы они в путь в шелковых чулочках, коротких шубках, модных маленьких шапочках и негреющих перчатках? Или их брали прямо со службы? Что же, и такое возможно.

– Смеются, – проговорил полевичок, кивнув на женщин, и сам как-то неприятно рассмеялся.

Мы двинулись широкой санной дорогой к темнеющим невдалеке постройкам. Кругом была пустота, немного солнца и низенькие, разбросанные там и сям строения. Ничего грозного, зловещего или хотя бы странного. А потом я заметил словно бы нитку, по которой бегал солнечный луч. Нитка была натянута между нами и ближайшими строениями; приглядевшись, я увидел над этой ниткой другую, затем еще и еще. И вдруг весь простор засверкал тоненькими, нитяными бликами. Эти блики забегали, заиграли и впереди, и справа, и слева, и дальше, вон у тех сопки и за той карликовой рощицей сосен-лилипутов. С нашим приближением нити очернились, и их оказалось более десятка, туго и тесно натянутых одна над другой, и уже видно, что это вовсе не нити, а проволока с шипами колючек, и колючая эта огорожа со всех сторон охватывает строения, на которые мы держим путь. И тут наконец я понял, что весь простор, как шахматная доска, разграфлен на квадраты колючей проволокой, что передо мной во все концы простерлась гигантская клетка...

10. Встреча

Проверка документов и оформление пропуска на территорию лагеря заняли много времени. В Заполярье темнеет рано, уже зажглись многочисленные лампочки на столбах вокруг комендатуры, круглые, рыбы глаза прожекторов, венчавших сторожевые башенки, протянули в синеватый, призрачный сумрак свои длинные лучи, когда человек, в овчинном полушубке, с наганом на боку, приказал терпеливо ожидавшемуся меня полевичку:

– Ступай за ихним отцом.

Полевичок быстро скатился с лестницы, а человек с наганом сказал мне:

– Можете идти на улицу. Его сейчас приведут.

Я вышел на «улицу» – неширокий коридор между двумя рядами колючей проволоки, – поставил на снег чемоданы и снова приготовился ждать. Но тут все произошло до странно-сти быстро. Из проходной напротив комендатуры легко выбежал маленький человек в шубе с барашковым воротником и барашковой шапке, нахлобученной на затылок, за ним вразвалку вышел часовой с винтовкой, последним выпоркнул знакомый мне полевичок.

– Сережа! – крикнул человек в барашковой шапке и легко, по-молодому, подбежал ко мне.

Мы поцеловались. Я, конечно, сразу узнал отца, он мало изменился, хотя несколько постарел, поседел, но я не был готов к встрече. Я не нашел образа нашей встречи в дороге, не смог представить его себе и здесь, во время долгого ожидания в комендатуре, к тому же меня связывало присутствие часового и юркого полевичка. Я как-то одеревенел. Я деревянно улыбался, я поворачивался деревянно, я почти сердился на отца за его легкость, бодрость, громкую веселость.

– Познакомься, – говорил отец, – это товарищ Лазуткин.

Полевичок протянул мне из глубины рукава красноватую обмороженную клешню.

– Хороший у меня сын? – весело и любовно спросил отец.

– Очень хороши-с, – подтвердил Лазуткин и зачем-то подмигнул мне.

– Сын приехал! – крикнул отец какому-то прохожему человеку, тот кивнул и улыбнулся.

– Пошли, что ли... – проговорил часовой.

– Сейчас пойдем! – резко отмахнулся от него отец. – И вообще надоело! Неужели вы не можете оставить меня в покое?..

Что-то рабье пробудилось во мне.

– Пойдем, – сказал я недовольно, – чего нам тут стоять.

Отцу хотелось еще побыть здесь, на перепутье лагерных дорог, чтобы возможно больше людей увидели его замечательного сына, но он не умел противоречить тем, кого любил.

Мы пошли: впереди Лазуткин, нагруженный чемоданами, за ним мы с отцом, позади часовой.

– Кто этот Лазуткин? – тихо спросил я. – Твой денщик?

– Вроде. Я его подкармливаю, а он оказывает мне всякие услуги.

– Противный человек!

– Страшная сволочь! – Отец сказал это совершенно беззлобно.

Он отнюдь не был лишен ни проницательности, ни понимания людей, но, угадывая низость окружающих, не руководился этим в своем к ним отношении. Тут не было слабости, скорее широта и рыцарственность характера.

– Ты нипочем не угадаешь, за что он сидит, – сказал отец.

– За убийство?

– Нет. За неуплату алиментов. Он троеженец. Притом из раскольников. Любопытный тип.

– Надо что-нибудь дать ему?

– Ни в коем случае. Он только вчера обворовал меня на месяц вперед.

Мы подошли к маленькой фанерной избушке, стоявшей в стороне от длинных, низких барачков лагеря. Часовой отпер висячий замок.

– Тут и устраивайтесь, – сказал он и сразу пошел прочь, неся за плечом острый, узкий блик штыка.

Лазуткин втащил чемоданы. Я щелкнул выключателем. Слабенькая лампочка под потолком тускло осветила деревянные нары, фанерный, на одной ноге, столик, железную печурку с трубой, похожей на самоварную, поленницу березовых дров, заледеневшее окошко и обросшие бахромчатым ином стены.

Лазуткин топтался в сенях, громко сморкаясь.

– Может быть, поднесем ему рюмочку? – предложил я.

– Ты привез спиртное? – испуганным голосом спросил отец. – Это стро-жай-ше запрещено!

– Ну и черт с ним, что запрещено! Не выбрасывать же марочный коньяк и коллекционный портвейн!

– Выбрасывать, конечно, жаль. Надо спрятать.

Мы поспорили. Я несправедливо обвинил отца в трусости. В живом, непосредственном общении с людьми он ни в чем не изменял себе, своей внутренней свободе, а это и есть смелость, но он сызмальства привык уважать законы. Так был он воспитан. Я же был воспитан иначе. Стоило отцу заспорить с часовым, как во мне тут же заговорила рабская покорность, но к отвлеченной форме насилия – закону я не питал ни малейшего почтения. Кончился наш спор тем, что бутылку вина мы решили не прятать и завтра распить с приятелями отца, а коньяк и большой флакон тройного одеколона зарыть в снегу.

Сунув одеколон в карман, а коньяк за пазуху, я вместе с Лазуткиным отправился «на дело». Мы держали путь на барак, вдруг искристую белизну снега лизнул сиреневый язык прожектора, и Лазуткин сдавленно крикнул:

– Нашупали!.. Ложись!..

Мы вжались в снег, затем поползли куда-то в сторону, провалились в яму, выбрались, сделали короткую перебежку, снова распластались на снегу и снова ползли, снова падали, снова бежали, пока Лазуткин не сказал:

– Будя! Можно закапывать. Тут место приметное.

Приметным это место было только для Лазуткина.

Вернувшись в фанерный домик, я не мог объяснить отцу, где мы схоронили коньяк и одеколон.

– Ничего, Лазуткин помнит, – сказал я наивно.

Позднее выяснилось, что Лазуткин место «запамятовал». Всю игру с перебежками он затеял лишь для того, чтобы запутать меня. Несомненно, отец это сразу понял, но не подал виду.

– Вот и отлично! – сказал он нарочито довольным голосом. – Ну, здравствуй еще раз. – И поцеловал меня холодным, твердым ртом.

Не знаю почему, я как-то странно засуетился. Открыл зачем-то оба чемодана и стал вытаскивать еду, теплые фуфайки и кальсоны, все это грудой сваливая на столик.

– Ты ешь... – лихорадочно говорил я. – Вот ветчина, вот сыр, хочешь, откроем икру?..

Отец мягко отказывался: он только что пообедал. Кормят здесь неважно, но начальник планового отдела берет для него еду в столовой для вольнонаемных. Там нету, конечно, таких прекрасных вещей, какие привез я, но, в общем, еда сытная и доброкачественная...

– Это тебе надо поесть, ты, наверное, проголодался в дороге.

– Нет, я не хочу, а ты ешь, – упрасивал я. – Смотри, какая телятина, это Дашура жарила... А вот носки, их Липочка вязала, специально для тебя... – Я совал ему телятину и носки, мне хотелось, чтобы он сразу съел всю еду и сразу надел на себя все привезенные мною теплые вещи.

Мне не терпелось воочию убедиться в нужности моей поездки. Я не понимал, что самый приезд мой куда важнее для него, чем все эти вкусные вещи, носки и фуфайки. А затем мне попался под руку «Молодежный альманах» с первыми моими произведениями, я сунул его отцу и потребовал, чтобы он прочел рассказ «Бич». Сейчас же, немедленно.

– Я читал. Прекрасный рассказ. Мне прислал этот «Альманах» дядя Боря. Но, – поспешно добавил отец, – очень хорошо, что ты привез второй экземпляр, мой совсем истрепался. Ты ведь самый популярный писатель в Пинозере... Знаешь, – сказал он вдруг, – давай затопим печку, а потом начнем пировать.

И когда он сказал это, я вдруг каждой жилкой почувствовал, как холодно здесь. Мое лихорадочное состояние, помимо других причин, было вызвано подспудным, недопускаемым до сознания страхом, что нам не выдержать долго в этой ледяной фанерной могилке.

И мы занялись печью. Если верно, что на все дела человеческие взирает сверху недреманное око, то оно должно было увлажниться слезами при виде немощных наших потуг. Нет и не было на свете людей, которым материальный мир был бы столь недружествен, как нам с отцом. Наши схожие руки, не произведшие никогда даже простейшего жизненного добра, бессильно хватались то за обледенелые чурки, то за спички, то за обрывки бумаги, набросанной на полу. Сначала мы до отказа набили узкий зев печки цельными полешками и попытались их зажечь. Но спички гасли, едва приблизившись к ледяным чехольчикам поленьев. Тогда мы напихали в печку бумагу и подожгли. Бумага вспыхнула и, зашипев, погасла, пустив струю едкого, вонючего дыма.

– Знаешь, – сказал отец, маскируя свою тревогу деловой озабоченностью. – Надо расколоть поленья на мелкие лучинки, тогда получится.

Возле печки валялся ржавый, без ручки, тупой косарь. Отец взял полено, неловко пристроил его стоймя и ткнул косарем. Полено упало, и косарь, вывернувшись из окоченевших пальцев, отлетел в сторону.

– Дай я попробую.

С большим трудом мне удалось отколоть тоненькую лучинку.

– Отлично! – сказал отец, подобрав лучинку. – А ты мастак!

Еще несколько ударов – и в руках отца оказалось три-четыре лучинки.

– Отдохни, – сказал отец, – я сам займусь печкой.

Освободив топку от поленьев, он сложил там лучинки крест-накрест, подсунул клочок бумаги и чиркнул спичкой. Бумага занялась, лучинки зашипели, по ним с веселым треском забегал огонек.

– Ну вот! – сказал отец, потирая руки. – Сейчас мы хорошенько протопим наше бунгало и сядем ужинать.

Я отщепил еще две-три лучинки, а затем то ли косарь наткнулся на сук, то ли не знаю уж отчего, но полено перестало колотиться. Я отшвырнул его прочь, выбрал другое, но тут наши щепочки, не прогорев, погасли.

– Надо побольше бумаги, – сказал отец, – дрова слишком промерзли.

Все привезенные мною продукты были плотно завернуты в бумагу, и этого добра оказалось сколько угодно. Вскоре у печки выросла целая бумажная гора.

– Знаешь, – сказал отец, – по-моему, мы великолепно можем отапливаться одной бумагой.

Быстро заполнив печку этим легким, надежным топливом, мы развели славный огонь. Как радостно было смотреть на яркое, шумное пламя, длинными языками рвущееся из топки. Но не прошло и минуты, как вся бумага выгорела, не родив никакого прироста тепла. Я бросил взгляд на отца и тут же отвернулся – у него было такое лицо, будто он сейчас заплачет.

И тут к нам явилось спасение. Тощая фанерная дверь студено взвизгнула, и в щели возник клочок густой, смутно шевелящейся тьмы. Но такой был холод в нашем фанерном домике, что мы не почувствовали дыхания окованной морозом ночи. Вслед за тем дверная щель заполнилась чьей-то рослой фигурой, и в комнату ступил человек в полушубке, бурках и теплой ушанке.

– Здравствуйте, – сказал человек. – Ну и холодище у вас, хуже, чем на улице. Ты что же, решил поморозить сына? – обратился он к отцу.

– Печка не топится, – смущенно пробормотал отец. – А вы что, дежурите?

– Дежурю... Случайно услышал, что к тебе сын приехал, вот и зашел проведать, как вы тут... А ну, собирайтесь, я вас в баню провожу, сегодня для указниц топили.

– А можно? – неуверенно проговорил отец.

– Дмитрий! – сурово оборвал его вошедший. – Я сказал – все!

Дежурный явно рисовался, и рисовка его адресовалась ко мне, человеку с воли. При всей своей неопытности я сразу это почувствовал, но был так ему благодарен, что даже простил его фамильярное обращение с отцом. Я быстро покидал в чемоданы продукты и вещи, и мы вышли на серебристый, звонко скрипящий снег. Какие-то светящиеся, зыбкие тени бродили по черному, в редких звездах небу. Я спросил – что это?

– Северное сияние, – глухо проговорил за моей спиной отец.

Мороз склеивал губы, пресекал дыхание, жестко растягивал кожу по скулам, сжимал виски, мозжил пальцы, и, когда мы подошли к бане, я не чувствовал ни лица, ни рук, ни ног.

Наш проводник распахнул одну дверь, затем другую, в глаза ударило, ослепив, густым банным паром.

– Вот лярвы! – выругался проводник. – До сих пор возятся. Сейчас я их турну!

Пар расцедился, и я понял, к кому относились его слова. Мы стояли в предбаннике, набитом полураздетыми и вовсе раздетыми женщинами. Иные отжимали влагу с мокрых волос, иные вытирались тощими полотенчиками, иные застегивали лифчики, тесно сводя лопатки, другие надевали через головы юбки, натягивали чулки, штаны, а те, что уже оделись и обулись, увязывали грязное белье. Но все они, и полуодетые, и раздетые, не обратили ни малейшего внимания на приход троих мужчин. Ни одна не отвернулась, не изменила позы, не прервала начатого движения. И когда наш спаситель, подойдя к ним, велел поторапливаться, они оставались все так же слепы, глухи и немые, и в этой их безучастности к окружающему было что-то зловещее.

– Несчастные женщины, – вполголоса сказал отец. – Это опоздавшие на работу, или, как их тут называют, указницы.

– Мы приехали одним поездом!

Невольно я еще раз взглянул на женщин, но эти молчаливые, бесстыдные, с грубыми, обветренными и распаренными лицами купальщицы как-то уж очень не походили на виденную мной днем веселую, пеструю стайку. К тому же одежда на тех, кто успел ее натянуть, была скверная, грубая, рваная: бумазейное белье, бумажные чулки, ватники, сапоги, валенки.

– Нет, – сказал отец, – сегодняшняя партия уже прошла санобработку. Это – старички.

– Что значит «старички»?

– Ну, давно прибывшие.

– То-то я вижу... Те, что сегодня приехали, совсем иные, – сказал я. – Настоящий цветник.

– Эти выглядели не хуже, – грустно сказал отец. – Их помещают с уголовниками, через месяц ни одну не узнать. Раздетые, разутые, замученные, опустившиеся...

Уголовники насилуют их, проигрывают друг другу в карты. Потом тяжелейшие земляные работы... Сохраняются более или менее лишь те, с кем живет лагерное начальство.

Пока мы разговаривали, наш избавитель притащил откуда-то деревянный лежак, похожий на пляжный топчан, только вдвое шире, затем набитый соломой матрац, фанерный столик, такой же, как в нашем первом пристанище, две табуретки.

– Подозрительная любезность, – заметил отец.

– А кто он такой?

– Тоже большая сволочь, – задумчиво сказал отец, – но в другом роде, чем Лазуткин. Сидит за вооруженный грабеж. У него скоро кончается срок, и сейчас он за примерное поведение назначен младшим надзирателем. Это часто практикуется, но лишь в отношении уголовников.

Надзиратель-уголовник притащил большую лампу-молнию, поставил ее на стол и радушно пригласил нас присаживаться.

Тем временем последняя указница, обмотав голову платком, покинула предбанник. Я полагал, что теперь мы останемся одни. Но не тут-то было. Наш благодетель, сняв шапку с темных кудрей, мятежно рассыпавшихся вокруг его смуглого, резко очерченного лица, расстегнул полушубок и подсел к столу.

– Как поживает наша белокаменная? – спросил он меня светским тоном.

Дальше произошло то, о чем я до сих пор стыжусь вспоминать. То рабье, что пробудилось во мне, когда отец обрезал часового, завладело мной безраздельно. Дело тут было не в благодарности. Этот человек, соединявший в себе престиж начальства с обаянием бандитизма, покорило, подавило, смял меня. Отца больше не существовало. Бессильный держаться на вершинах нашей светской беседы, он словно провалился в далекое, захолустное прошлое. Этот бандит-надзиратель оказывал свои любезности не из грубой корысти. Он знал, что я писатель, и потому, считая меня человеком своего круга, хотел отдохнуть в разговоре о разных тонкостях, которых давно был лишен.

– Что новенького у Лёни? – спрашивал он. – Как Одесса-мама?

Я никогда не бывал на концертах Леонида Утесова, но память у меня, как липкая бумага.

– Он выступает сейчас в ЦДК, в новом здании. Зал огромный, а голос у старика, сами знаете. Только микрофон и выручает, – говорил я тоном знатока. – Сейчас сделал новую программу, о москвичах.

– Есть что-нибудь хорошенькое? – шурясь, спрашивал мой собеседник.

– Блюз «Дорогие москвичи» еще куда ни шло, а так слабовато.

– Я знаю, Москва по Рознеру обмирает, – сказал он с улыбкой.

Я и в глаза не видел Рознера, но липкая бумага выручила и тут.

– Ну, Рознер! Европейская школа! Третья труба в мире!

– В мое время, – робко вставил отец, – пользовалась популярностью певица Степовая. Она больше не выступает?

– Что-то не слыхал такой, – отмахнулся я. – Сейчас Рачевский в ход пошел.

– На Капе, на жене своей, выезжает, – усмехнулся мой собеседник. – Понятно! А как старик Варламов? «И в беде, и в бою об одном всегда пою...»

– «Никогда и нигде не унывай», – фальшивым голосом подхватил я. – Старик дышит, но уж не тот.

– Простите, – снова вмешался отец. – Но ведь Варламов давно умер?

– Это не тот Варламов!

И, чтобы скрыть неловкость, вызванную бестактным замечанием отца, я ринулся к чемодану:

– Угощайтесь, тут все московское! – И я щедро вывалил на стол мандарины, апельсины, сыр, ветчину, хлеб, масло, икру. – Папа, угощай товарища!..

Отец отнесся к моему призыву без всякого воодушевления, он пробормотал что-то невнятное и даже сделал попытку убрать часть продуктов в чемодан. Я сгорал от стыда. Но гость словно не заметил отцовской холодности, он взял мандарин, очистил его и отправил в рот.

– Вы не представляете, насколько мы тут оторваны от настоящей культуры, – сказал он. – Как только вернусь в Москву, в первый же день в «Эрмитаж»! – Большими, сильными пальцами он взял еще один мандарин и разом освободил от золотистой одежды его нежную плоть.

Отец напряженно следил за ним. Я не знал, куда деваться. По счастью, в предбанник вошли две женщины: пожилая и молодая, в темном, монашеском одеянии и темных платках. Ни слова не говоря, они опустили на лавку и принялись разматывать платки.

– Эй, бабоньки! – окликнул их наш гость. – По какому вы делу?

Женщины не ответили, продолжая разоблачаться, тогда он выпростал из-за стола свое крупное тело и пошел к ним.

– Неужели тебе жалко, если он съест мандарин? – укоризненно спросил я отца.

– Конечно жалко, – ответил он просто, – мама тратилась, старалась не для того, чтобы кормить этого холуя.

Изгнав женщин, надзиратель вернулся к столу.

– Монашки, – бросил он вскользь, – попариться захотели... Ну, отдыхайте, я пошел на обход. А чтоб вам не мешали, я дверь запру. Спокойной ночи. – И, небрежно прихватив мандарин, он вышел из предбанника.

И вот погашена лампа-молния, только с потолка тускло-тускло светит из-под стусившегося там пара слабенькая электрическая лампочка. Из бани наддает мокрым деревом, мыльной склизью, но и запахи какие-то теплые, и тепло под шубами, рядом с худым, деликатно съежившимся на самом краю лежачка телом отца. Все дурное, глупое, грубое, мелкое уходит из меня, во мне остается лишь нежность, бесконечная, до слез нежность к родному телу, приютившемуся близ меня. Это чистое, безобманное, детское чувство. И как в детстве, когда отец брал меня к себе в кровать, я осторожно и преданно обнял его за плечи.

– Сыночка моя, – со страшной нежностью говорит отец, и мы засыпаем, наконец-то встретившись...

11. День, прожитый вместе

Это был один из самых счастливых дней, прожитых мною вместе с отцом. Он и начался с удачи: мне удалось благополучно пронести бутылку вина через сторожевой пост. Отец очень беспокоился, что меня накроют, большая литровая бутылка заметно выпирала в пазухе шубы, но охранник, даже не глянув на меня, надорвал пропуск и махнул рукой: проходи!

В этой части лагеря находились разные учреждения, в том числе и плановый отдел, где отец работал экономистом. У него был отдельный письменный столик, и отец запер бутылку в тумбочку стола.

Постепенно стали собираться сотрудники, и тут отец полностью взял реванш за вчерашнее. Радостно и торжественно знакомил он меня с сослуживцами. Вначале меня смущала эта церемония, но каждый из моих новых знакомых проявлял такую искреннюю, неподдельную сердечность и заинтересованность, что вскоре я почувствовал себя легко и непринужденно. Я нес с собой запах воли, я принадлежал запретному миру свободы, и доброта, приветливость этих людей относились не лично ко мне, а ко всему, что осталось за колючей проволокой.

Они не завидовали отцу, скорее испытывали благодарность за то, что по его милости явился посланец *оттуда*. Впрочем, для одного человека я представлял и личный интерес. Это был младший экономист Гурьев: низенький, квадратный, с круглым, лысым черепом и сказочной черной бородой, веером лежащей на груди. Он поманил меня пальцем к своему столу, воровато огляделся, достал из ящика толстую тетрадь в клеенчатой обложке, развернул и протянул мне.

«Но я не взял бич, – читал я каллиграфические строки. – Мне не хотелось властвовать над этим миром, таким непрочным и хрупким, таким близким страданию и смерти, и где никакой силой не вернешь жизни, отнятой одним ударом бича».

Это была концовка из моего рассказа «Бич». Я почувствовал волнение.

– Вы писали для нас, – шепнул мне Гурьев. – Ваш отец называет мою тетрадь – «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Здесь запечатлено все самое дорогое.

Я все еще держал тетрадь в руках. На другой странице тем же мелким и четким почерком были «запечатлены» стихи:

На виноградниках Шабли
Пажу маркизу развлекали.
Сперва стихи ей прочитали,
Потом маркизу... —

но без многоточия.

Кроме бородатого карлы, в одном помещении с отцом работали: плановик Харитонов, рослый, неуклюжий человек в коротенькой бумазейной толстовке, которую он поминутно одергивал на зад, и секретарша-машинистка, глупорожая, с носом пуговкой и необыкновенно красивой фигурой. Вызывало даже раздражение, что к такому редко и радостно красивому телу приставлена бессмысленная тыква. Она была вольнонаемной и жила в поселке. Когда нас познакомили, она задержала мою руку в своей и сказала с глуповатой улыбкой:

– А у нас сегодня танцы в клубе.

– Может быть, ты пойдешь? – самоотверженно предложил отец.

Стараясь не опускать взгляд ниже безвольного, расплывшегося подбородка секретарши, я стойко отверг приглашение.

Познакомился я и с начальником отдела, также вольнонаемным, – пожилым, глуховатым и очень симпатичным. Не зная, чем выразить мне свое расположение, он потащил меня в буфет, где я накупил груды пирожков с повидлом.

Да, это был счастливый день, он светился в памяти каким-то особым светом, но сказать, что же было в нем такого замечательного, я, право, затрудняюсь.

Отец работал, а я тихо сидел возле него. Маленькие, смуглые руки отца то крутили ручку арифмометра, то быстро орудовали счетной линейкой, то щелкали костяшками счетов. Полученные цифры он заносил в разграфленный лист бумаги. Наверное, то была самая обычная каждодневная его работа, но мне казалось, что он делает очень важное, ответственное, не посильное никому другому на Пинозере. Меня восхищало, как он работает: быстро, четко, уверенно. Порой отец отрывался от своих расчетов и спрашивал меня о ком-нибудь из домашних или о Москве. Я коротко отвечал. Может показаться странным, но мы не испытывали тяги к большому, серьезному разговору, нам вовсе не нужно было много говорить, чтобы все понимать, все знать друг о друге. Достаточно было и того, что мы рядом, что никто не может нас сейчас разлучить. Было удивительно тепло на душе. Все вокруг казалось радостным, добрым, ладным. Радостно светило в окошко солнце с ярко-голубого чистого неба, радостно стучал старенький «Ундервуд», весело и радостно разыгрывали друг друга Гурьев и Харитонов. Мой приезд совсем выбил их из колеи. Два немолодых, знающих себе цену, тяжеловатых человека резвились, как котята: поминутно выскакивали из комнаты, приставляли друг к другу и к секретарше, наперебой рассказывали старинные соленые анекдоты и громко смеялись.

Только раз этот счастливый, ясный день был омрачен вторжением чего-то темного, тягостного. В обеденный перерыв сотрудники отправились в столовую, а мы с отцом налегли на московские бутерброды и местные пирожки с повидлом.

– Я давно хотел спросить тебя, – сказал отец, осторожно подгребая пальцами крошки. – Тебя с мамой приводили во внутреннюю тюрьму?

– Куда?.. – не понял я.

– Ну, на Лубянку.

– Нет! С чего ты взял? Нас вообще никуда не вызывали.

– Мне показывали вас, – тихо сказал отец. – Издали. Мама сидела на каменной тумбе, помнишь, у нас перед домом в Армянском такие тумбы, а ты стоял сзади...

Я взглянул на отца, у него было далекое лицо. Только что он был рядом, родной и близкий в каждой черточке, каждом движении, в добром взмахе ресниц, а сейчас, со своими странно вытаращенными глазами, полуоткрытым, сухо обтянутым ртом, он был бесконечно далек от меня, и я не мог последовать за ним в это далеко. Мне стало страшно, и, чтобы не поддаться этому чувству, я сказал как можно небрежнее:

– Что за бред! Нас никуда не вызывали!

– Я видел вас, – повторил отец потерянным голосом. – Я только не знаю, на самом ли деле вас мне показывали или то была инсценировка...

– Это галлюцинация, ведь ты же болел.

– Заболел я позже, а вас видел во время следствия, когда мне предъявили обвинение в поджоге. Они хотели мне внушить, что вас тоже расстреляют, если я не сознаюсь.

– Никуда нас не вызывали, – угрюмо повторил я.

– Ну, не будем об этом, – сказал отец мягко.

Я чувствовал, что он мне не верит. И все же был рад, что разговор прекратился. Меня страшило то, что могло открыться в этом разговоре, я не решался принять на свои плечи непосильный, быть может, груз. И до сих пор я не знаю, только ли болезнью объясняется странное видение отца...

Начальник отдела отхлопотал отцу разрешение вернуться в барак к двенадцати часам ночи. И вечером, когда закончился рабочий день со всеми его сверхурочными, мы устроили пирушку. Кроме нас с отцом, в пирушке приняли участие верный Лазуткин и дежуривший по отделу Харитонов. Лазуткин сбегал в барак за бутербродами, затем жарко растопил печь и завесил окно своим полушубком.

Бутылку мы поставили под стол в кабинете начальника, а закуску – хлеб с ветчиной и сыром – каждый держал в кармане. Тут выяснилось, что у нас нет стаканов. Хотели было снова послать Лазуткина, но побоялись: народ в лагере больно смекалист. Решили пить из горлышка. Долго спорили, кому идти первым в кабинет начальника. Мы все настаивали, чтобы шел отец, но он упорно отказывался. Наконец Харитонов с решительным видом одернул толстовку и шагнул к двери. Отсутствовал он долго, и отец даже высказал предположение, что на этом наше пиршество кончится. Но вот Харитонов вышел с подобревшим и чуть смущенным лицом. Оказывается, мы впопыхах не позаботились о штопоре, и он выковыривал пробку карманными ножницами.

– Славный какой портвейнчик! – растроганно сказал Харитонов. – Ну, иди ты, Митюша!

Отец проскользнул в дверь и очень скоро вернулся, утирая рот платком.

– Прекрасное вино! – сказал он с видом тонкого ценителя. – Напоминает «Лакрима-Кристи».

Теперь пришла моя очередь. Почувствовав странное волнение, точно я действительно совершаю невесть какой подвиг, я вошел в кабинет, достал из-под стола бутылку и приложился губами к горлышку. Я боялся выпить и слишком много, и слишком мало. Ну, еще глоток, еще полглоточка... Нежный жар прилил к сердцу. «Миленький боженька, сделай, чтобы отец был счастлив в жизни, сделай, миленький боженька!..» Я еще пригубил, провел рукой по глазам и спрятал вино под стол...

Верный Лазуткин заставил себя долго упрашивать, прежде чем согласился последовать нашему примеру.

– Мы к вину не приучены, – твердил он, скромно прикрывая рот рукой. Несмотря на этот предохранительный жест, от него сильно тянуло смесью сивухи с одеколоном.

В своей растроганности я не сообразил, что Лазуткин успел ликвидировать наш тайник. Наконец он дал себя уговорить и вышел из кабинета пунцовый, потный и какой-то ошалелый. Наверное, портвейн плохо ложится на коньяк и одеколон.

Снова пошел Харитонов, затем отец, и вот сильно полегчавшая бутылка вторично оказалась в моих руках. Я пью маленькими глотками, и с каждым глотком растет во мне что-то доброе и героическое. Мне видится, как, наделенный необычайной властью – откуда эта власть, неведомо, что-то тут от литературы, что-то от каких-то иных заслуг, – приезжаю я в лагерь за своим отцом. Все начальство высыпает мне навстречу, все заключенные глядят на меня с восторгом и надеждой. Я щедро, во всю полноту дарованной мне власти, награждаю тех, кто был хорош с отцом, караю тех, кто был недобр к нему.

– Самолет подан! – докладывает главный начальник, и мы с отцом направляемся к серебряной птице. Ревут пропеллеры, чекисты делают под козырек, мы летим к свободе, счастьем...

Слезы застыт мне глаза, вино допито.

Когда я вернулся в общую комнату, Харитонов, жуя бутерброд, рассказывал какую-то любовную историю.

– Ты чувствуешь?.. – поминутно спрашивал он отца.

Мой добрый, деликатный отец, конечно, все чувствовал. Когда же захмелевший Харитонов добрался до победного финала, отец сказал:

– Мне это напоминает одну встречу в двадцать третьем году...

Я весь напрягся. Я понимал, что отец расскажет что-то совсем непохожее на грубые откровенности Харитонов и что звучать это будет провинциально и отстало, подобно его вчерашним расспросам о певице Степовой. Но не смущение владело мною сейчас, а яростная готовность дать отпор каждому, кто посмеет отнестись к отцу свысока. Я переводил вызывающий взгляд с Харитонova на Лазуткина. Мой отец имеет право быть таким, какой он есть, ему ни к чему приспосабливаться к окружающей низости. Но ни Харитонов, ни Лазуткин не дали мне повода вступить за отца, благополучно закончившего свою историю. И тут мне впервые пришла мысль, что отец куда более сильный, защищенный человек, чем мне кажется. Он сохраняет свою старомодность как протест, он не желает подлаживаться к среде и всюду и всегда остается самим собой.

Около полуночи кто-то приоткрыл дверь. В прорези мелькнул край серой шинели и ставший привычным торчок штыка.

– Баиньки вам пора, – деликатно заметил Лазуткин.

– Идем! – весело откликнулся отец, поцеловал меня и тихо сказал: – У меня очень хороший сын.

В дверях он обернулся и с лихим видом щелкнул пальцами. Этим несвойственным ему жестом он хотел показать, что все прекрасно: он славно выпил, нисколько не раскис и в самом добром настроении идет ко сну. У меня сжалось сердце. Я понял, как тяжело ему расставаться со мной сейчас, на одну ночь, а ведь завтра нас ждет настоящая, большая разлука.

Едва Харитонов сдвинул столы, на которых нам предстояло спать, как в комнату вошла поломойка, молодая черноволосая женщина, похожая на цыганку.

– Ишь, паньчи! – сказала она. – Нет уж, погодьте, пока я дело сроблю.

Женщина была немного костлява, но очень миловидна лицом: огромные темно-карие глаза под густыми ресницами, соболиные, вразлет брови, сочный, яркий рот. На голове у нее была марлевая повязка, захватывающая правое ухо.

– Это где же тебя угораздило? – спросил Харитонов, ткнув пальцем в повязку.

– С мужиком в снегу валялась, ухо отморозила, – с вызовом ответила женщина.

Плеснув из ведра на пол, она нагнулась и стала гонять тряпкой воду. Ситцевая юбчонка тетивой натянулась между широко расставленными ногами в коротких сапогах, тесно охватывающих полные икры. Харитонов подкрался и ущипнул ее под юбкой. Не оборачиваясь, женщина хлестнула его мокрой тряпкой. Затем распрямилась, локтевым сгибом откинув прядь волос с пунцового от прилива крови лица, и лениво сказала:

– Отчепись! Все равно с тобой не пойду. – Повела темным глазом в мою сторону и добавила: – Вот с молоденьким пошла бы.

– Очень ты ему нужна, – без всякой обиды сказал Харитонов. – Он с воли.

– С во-оли? – протянула женщина, и на ее красивом, лениво-нахальном лице мелькнула детская заинтересованность. – Какая же она есть – воля-то?

– Нешто забыла? – спросил Харитонов. – Ты ж недавно сидишь.

– Давно ли, недавно ль, а не помню, – усмехнулась женщина. – Как пришли ваши, как начали орать, так и отшибло память. Ничего я теперь не помню, мужиков, с кем валяюсь, и тех не помню.

– А вы откуда? – спросил я.

– С Западной Украины, – ответил за женщину Харитонов.

– Я думал, вы цыганка.

– Это многие думают, – дернула плечами женщина. – Худа стала, как кляча, вот и цыганка.

– Да нет, ты еще в теле, – заметил Харитонов. – Хочешь сырку?

– Отчепись! – снова презрительно сказала женщина. – Сыром не купишь. Меня ничем не купишь!..

Харитонов достал из кармана недоеденный бутерброд, затем, вывернув карман, собрал в ладонь хлебные и сырные крошки и присыпал бутерброд сверху, как солью:

– Держи.

Женщина осторожно взяла бутерброд и вонзила в него белые ровные зубы.

Я улегся на стол, шапка под голову, шуба на покрышку. Все куда-то отодвинулось, остался лишь последний, прощальный жест отца и ниточкой боли потянулся за мной в сон. Спать на столе было жестко, и, ворочаясь с боку на бок, я на какой-то миг выскользнул из сна.

– Ну как я пойду, дурья голова? – услышал я будничный голос женщины. – У меня ж еще коридор не вымыт.

– А ты после коридора... Вымой коридор и приходи, – канючил счастье Харитонов.

– Ну, ладно...

12. Отъезд

В полдень следующего дня я сидел на пустом чемодане при дороге, ведущей из лагеря на станцию, и грыз кусок твердого, залежавшегося в кармане сыра. Час назад истек положенный срок свидания, и мне пришлось покинуть территорию лагеря. Но я еще не расстался с отцом. Нам было разрешено проститься в караулке, в половине первого, когда начинался обеденный перерыв.

Те утренние часы, что мы были вместе, промелькнули с неестественной быстротой. Вначале нам казалось, что у нас времени вдосталь, и мы спокойно разговаривали о всяких далеких вещах: о моей первой учительнице немецкого языка Анне Федоровне, о наших бывших соседях по квартире в Армянском переулке, об улице Фурманова, куда мы с мамой переехали уже в отсутствие отца, о Гурьеве и Харитонове – словом, мы беседовали как люди, в чьем распоряжении вечность. А может, мы просто жалели и щадили друг друга? Слишком страшно было бы коснуться того, что нам предстояло. Неожиданно в дверь просунулась голова Лазуткина.

– Принес я чемоданчик... – проговорил он словно бы в пустоту. Один из двух привезенных мною чемоданов я должен был взять с собой.

– Как, уже? – произнес отец, достал из кармашка часы и стал зачем-то крутить завод.

Взаимопомощь выручила нас и сейчас. Главное было – не видеть друг друга. Это совсем не просто: быть рядом, разговаривать, даже спорить – отец настаивал, чтобы я взял с собой еду, я же решительно отказывался, – глядеть друг на друга и не видеть. Не видеть гримасы боли и слабости на лице родного человека, не отвечать на нее, чтобы не увеличить его муки. Мы с честью выдержали испытание.

Я попрощался с начальником отца, с бородатым Гурьевым, с Харитоновым, с Лазуткиным, с секретаршей, выполнил нужные формальности в караулке, а затем долго брел с противно пустым чемоданом в руках, пока меня не остановил ударивший с полей в грудь и лицо ветер. Тогда я сел на чемодан и, отворотившись от ветра, стал глядеть на колючую проволоку и сторожевые башни, похожие на грибы.

А потом я почувствовал вдруг сильный голод. Я обманул отца, сказав, что позавтракал в буфете, в этот день буфет почему-то был закрыт, но я не хотел, чтобы отец расточал на меня московские продукты. Теперь мне тоже было мучительно жаль и мандаринов, скормленных дежурному, и бутербродов, которыми я так щедро наделил Харитонova и Лазуткина. Тут я вспомнил о сыре, сохранившемся у меня от собственных дорожных запасов, достал его и, обдув соринки, начал грызть. Сыр показался мне очень вкусным, но так усох, что даже мои крепкие зубы едва с ним справлялись. Я грыз его до самого прощального часа, о котором возвестил тонкий, похожий на свист в два пальца гудок.

Расставание началось, как новое свидание. Встретившись в караулке, мы поцеловались, и отец сказал, точно увидев меня впервые:

– А ты выглядишь настоящим молодым мужчиной. Это самая прекрасная пора – молодость, куда лучше отрочества и юности.

Отец спросил меня, что я буду делать по возвращении в Москву. Я нарисовал ему великолепную картину моих каникулярных праздников. Я поеду в дом отдыха «Сатеевка», где меня уже ждет моя девушка Лиза. У меня будет отдельная комната, я же еду туда как полноценный писатель. Любовь, лыжи, бильярд и немного творчества – вот моя жизнь в «Сатеевке». Отец должен знать, что мне будет хорошо, очень хорошо, только это могло скрасить ему разлуку. Не остался и он в долгу передо мной. Он разберет привезенные мною книги и составит себе программу чтения, кроме того, он намерен освежить в памяти английский язык... Жаль, что я не успел побывать у него в бараке, я бы убедился, что там отличная

обстановка для занятий. Словом, каждого из нас ожидало столько неотложных интереснейших дел, что мы почти мешали друг другу.

– Ну, распрощались? – произнес стоящий рядом охранник и уронил ружье.

Приклад глухо стукнул в шаткий деревянный пол, и звук этот упал мне в самое сердце. Что-то оборвалось во мне, и сразу из глаз покатались слезы. Обычно плачу предшествует какое-то внутреннее борение, человек всегда – сознательно или безотчетно – сопротивляется слезам, а сейчас это случилось так, будто кто-то другой заплакал во мне.

И по щекам отца потекли слезы вдоль носа, к страдальчески скривившемуся рту. Мы обнялись, поцеловались, затем еще поцеловали друг друга в мокрые лица и кинулись к противоположным выходам из караулки. Обогнув караулку, я увидел по другую сторону проволочной ограды отца. За ним, бессмысленный и ненужный, с глупо выставленным вперед штыком, едва поспевал часовой.

– До свиданья! – крикнул отец, приблизившись вплотную к проволоке.

– До свиданья! – крикнул я, тоже подбежав к прово локе.

С вышки что-то заорали, на меня ли, на отца или на нас обоих. Мы двинулись вдоль ого- рожи, каждый по своей стороне, разделенные полутора-двумя метрами пространства, простеганного колючей проволокой.

Потом сугробы заставили меня забрать чуть в сторону, а какое-то невидимое мне препятствие заставило и отца отдалиться от проволоки, но мы все шли, шаг в шаг, и махали друг другу руками. Дорога увела меня еще дальше от проволоки, теперь я мог видеть отца лишь полуобернувшись; так я и шел, повернув назад голову, и видел, что отец следует за мной, то подымаясь на носки, то быстро пробегая вперед к просвету, а за ним тяжело шагает часовой с винтовкой под мышкой. Так шли мы, словно связанные невидимой цепью, шли, томясь и мучая друг друга, и не в силах прекратить эту муку, пока отец не достиг конца клетки. Перед ним выросли ряды колючей проволоки, и он приник к ней, ловя меня последним взглядом. Я еще видел его лицо, хоть и смутно, затем лишь общий абрис фигуры, словно повисшей на проволоке, затем темное пятнышко меж сверкающих нитей, и это пятнышко задержалось надолго. Я подходил к станции, а оно все не исчезало, затем стало чуть приметной точкой, скорее угадываемой, нежели видимой, и вдруг эта точка пропала в легком сиянии, творившемся вокруг льдисто обмерзших шипов проволоки.

Я повернулся лицом к дороге и ветру. Ветер замораживал слезы на моих щеках, вскоре покрывшихся тонкой ледяной пленкой. А когда я вошел в помещение вокзала, чтобы купить билет, лицо враз оттаяло и стало мокрым, как после бани.

Но отец еще раз напомнил о себе, прежде чем я покинул Пинозеро. Я уже сидел в поезде, когда передо мной, словно из сказки, возникла квадратная, приземистая фигура боро- датого гнома Гурьева.

– Папаша передает вам привет, – сказал он, посмеиваясь и оглаживая бороду.

– Почему вы здесь?

– В Кандалакшу командирован, – радостно сказал карлик.

– Как отец, как он себя чувствует?

– Скрывает... – загадочно ответил Гурьев. – Хотел вам фунтик леденцов передать, да я не взял. – Он снова негромко засмеялся.

Я представил себе, как отец сует Гурьеву фунтик леденцов, неумело свернутый фунтик, как хотелось ему проявить эту последнюю, жалкую заботу о сыне.

– Пусть сам скушает, верно? – сказал Гурьев – видимо, он гордился своим поступком.

Мне нечего было возразить ему, он поступил так из доброго чувства к отцу. Но этот фунтик меня доконал. Всю дорогу до Москвы пролежал я на верхней полке, уткнувшись мокрым лицом в пыльную вагонную подушку. Ну зачем этот фунтик? Ну хоть бы фунтика не было... Неужели есть кто-то, кому всегда не хватает человеческой боли?..

13. Через годы

Расставаясь с отцом в декабре 1940 года, я был уверен, что самое позднее через год снова увижусь с ним. А в памятное июньское утро, когда прозвучало грозное слово «война», я мысленно простился с отцом навсегда. Среди потерь войны – а я уже в самом ее начале потерял двух лучших и, пожалуй, единственных друзей, – первой моей потерей был отец. Можно ли было надеяться, что уцелеют в лагере политические заключенные, когда в столице, в Москве, с первых же дней войны начались продовольственные затруднения. К тому же сорокские лагеря находились близ границы и сразу оказались в зоне военных действий.

– Мы уже никогда не увидим Митю, – сказала мать и со странной полуулыбкой покачала головой.

Больше мы об этом не говорили. Война не шутила, она требовала крови и крови, миллионы литров крови, молодой и старой, свежей и гнилой, она не была разборчива, она торопилась и не давала времени ни для грусти, ни для размышлений. Но кровь сына политзаключенного ей поначалу не понадобилась. В Ростокинском военкомате объявили набор в школу лейтенантов. Я поспешил туда. Но, выяснив, что отец мой в лагере, мне деликатно посоветовали учиться дальше. А ведь я, идиот несчастный, думал об искуплении своей кровью несуществующей вины отца. Мне бы следовало помнить, что я едва не вылетел из института, когда кто-то донес, что мой отец сидит. При поступлении для тогдашних не подробных анкет в качестве родителя годился отчим. Он же и отстоял меня.

На войну я все же попал через обычный военкомат, скрыв позорные обстоятельства своей жизни, впрочем, в качестве пушечного мяса низшего сорта сошел бы и сын репрессированного. Через год, после тяжелой контузии, я был демобилизован, а в дальнейшем до конца войны работал военным корреспондентом наимирнейшей газеты, имевшей право держать беспогонных военкоров. Наученный горьким опытом, я не усложнял свою анкету, и страх разоблачения поселился во мне.

Это случилось в самом начале июня 1944 года. Я в очередной раз съездил на фронт, увидел, что на войне по-прежнему много убивают, как-то странно затосковал и решил жениться. Чуть не год я был близок с милой молодой женщиной, мы стали мужем и женой. Я вошел в ее дом и обнаружил, что дом этот весьма фундаментален и по тощему военному времени до стыда зажиточен. Но все было по закону – тесть занимал высокий пост в промышленности. Семья истово отмечала изобильным застольем каждый наш военный успех. Не помню уже, освобождение какого города мы праздновали, когда раздался телефонный звонок и очень серьезный голос мамы сказал: «Приходи».

Больше ничего не было сказано, но я понял, что короткая передышка кончилась и жизнь снова берет нас за бока.

– Ты опять пил? – привычно спросила мать, едва я переступил порог.

– Не преувеличивай.

Мать протянула мне телеграмму. Назавтра в шесть десять утра нас вызывали на Центральный телеграф для переговоров с Рохмой.

– Где это – Рохма? – произнес я удивленно.

– До чего ты похож на Митю! – сказала мать, кусая губы. – Стоило рассказать ему, что кто-то попал под трамвай, он тут же спрашивал: на какой улице?

Хмель выскочил у меня из головы.

– Так это – папа! Боже мой!

– Неужели ты сразу не понял? – с досадой произнесла мать.

– Чего ты злишься?

– Я не злюсь, я думаю, как тебе быть, несчастный ты человек.

Но я и так все понял. Игра давно уже шла не на орешки. И как отнесется моя новая семья к неожиданному родству с врагом народа? Здание безупречной судьбы рушилось, словно карточный домик.

– А провались все к черту! – сказал я с тоской и злостью. – Не предам же я отца ради этих икродов!

– Не говори пошлостей, – сказала мать, которой ненавистна была любая, даже тщательно завуалированная поза. – Для Мити мы сделаем все – но его нет. Понятно? И никаких сантиментов. С Ниной или с другой бабой, стрезва или спьяну – об этом ни звука. Понятно, Сергей? А сейчас ложись спать. От тебя несет, как из бочки.

Я лег, оскорбленный той плоской и холодной утилитарностью, с какой мать отнеслась к чуду отцова воскресения, ее нерастроганностью и жесткостью. И только в самом дальнем тайничке сознания, куда человек почти никогда не заглядывает, теплилось иное, верное представление о случившемся: мать взяла на себя труд жестокого, но необходимого решения. Она сняла с моей души излишнюю тяжесть, оборонила от всего того мучительного, стыдного, грязного, с чем мне пришлось бы иметь дело в себе, если бы она не поставила меня перед готовым решением. Она потому и была так упрощенно серьезна, так коротка в слове и чувстве, что защищала меня и от жизни, и от себя самого. Она знала, что я буду злиться на нее, и давала мне сыграть эту жалкую игру, потому что была сильнее и выносливее меня.

В половине шестого утра мы отправились пешком на Центральный телеграф. Было раннее теплое июньское утро, с синим, чистым небом и чистыми, белыми облаками, с пустотой и тишью еще не проснувшихся улиц, такое же утро, той же поры года, когда мы с мамой семь лет назад ехали в Егорьевск к вновь обретенному, как и сейчас, отцу. И подстриженная травка на бульварах так же зеленела, как зеленели тогда поляны Подмосковья, и липы Гоголевского и Суворовского бульваров источали тот же аромат, что залетал в открытое окно вагона, – и мы опять вдвоем с мамой против целого света.

Сколько страшного и непоправимого свершилось за эти семь лет, сколько пролито слез, сколько претерпено страха, но были и большие избавления, и маленькие, жалкие радости, и великая усталость, почти неощутимая в кутеже каждодневности, и непосильные остановки жизни. И мама уже не та. Как ни «удачливо» я воевал, для нее и этого оказалось достаточно. По-старушечьи округлилась спина, опали плечи, лицо сохранило лишь профиль – точный и нежный абрис, – фас разрушен мешочками, складками, морщинами, темными пятнышками.

– Мама, помнишь?.. – спросил я, совсем не подумав о том, что она не могла следить за ходом моих мыслей.

– Что?.. Ах, нашу поездку в Егорьевск!.. – сказала мама со слабой улыбкой.

И то, что она сразу угадала, о чем я спрашиваю, открыло мне ее тщательно хранимую взволнованность.

– Какая все-таки поразительная живучесть у Мити! – сказала мама теплым голосом, она, верно, подумала о том, что мне передастся по наследству отцовская живучесть.

Нас вызвали в десять минут седьмого.

– Рохма на проводе!.. – проговорил откуда-то сверху, с потолка, глухой, как из бочки, женский бас. – Кабина третья... Говорите!

Мы кинулись в кабину. Не было ни обычного шороха, ворчания простора, ни переспросов телефонистки. Была пустота, а затем из этой пустоты, из-за края света, из давно пережитого прошлого далекий, но бесконечно знакомый, совсем не изменившийся голос бросил мне в сердце:

– Сережа!..

Через день, нагруженный двумя чемоданами, как в дни довоенного моего путешествия на Пинозеро, выехал я в Рохму, маленький городок под Ивановом, который был определен на жительство отцу, досрочно «активированному» по инвалидности.

14. Новая встреча

Я уже не был тем мальчиком, который четыре года назад ехал к отцу в Заполярье. Я душевно изощрился на войне; я знал, как защищаться от направленного на тебя огня, знал, как можно собственной рукой направить его в собственную грудь, – и такое было во время болезни. Главное же, я познал страх во всех его видах и оттенках и воспитал в себе такое чутье к опасности, что в известных пределах сохранял полную внутреннюю свободу, почти равную бесстрашию. Словом, в смысле утраты душевной наивности я был в эту пору вполне взрослым человеком. Но при этом во мне сохранялось еще немало детского, мальчишеского.

Я поехал в Рохму, в эту забытую богом глушь, к больному, измученному отцу, разодетый как павлин. Матери я туманно объяснил это неуместное франтовство желанием произвести впечатление на рохомчан и тем повысить престиж отца. Думаю, она не поверила мне. На деле к щегольству меня принудил тот театрально-романтический образ встречи, который я создал себе. К сожалению, я не мог, подобно капитану Грею, распустить алых парусов, не мог явиться ни в сверкающих латах Лоэнгрина, ни даже в белом трико и атласном камзоле балетного принца-освободителя. Я поехал в костюме от лучшего московского портного, от Смирнова, в широком габардиновом плаще, модной круглой кепке и туфлях на толстом каучуке. Роскошный, красивый, богатый, ветеран войны, зять советского вельможи, к тому же писатель, уже пригретый славой, – таким должен был я предстать перед старым отцом, засыпать его всеми жизненными благами, заключенными в двух чемоданах, вдохнуть в него силу жить и веру, что с такой опорой он не пропадет.

Наряду с этой душевной дрянью было во мне и настоящее тепло, и радость свидания, и нежность, и жалость, но эти чувства были несколько отвлеченными – как некогда, я не мог вообразить себе отца вживе, он представлялся мне таким, каким я видел его в последний раз: хотя и опечаленным расставанием, но бодрым, легким, крепким человеком, с седой головой и по-молодому привлекательным, смугловатым лицом. Но я понимал, что таким он не мог сохраниться, лагерь отпускает людей раньше срока, лишь выжав их до конца, до полной негодности. Однако мне никак не удавалось внести эту поправку в облик отца. Он просил привезти ему «какие-нибудь брюки и, если можно, что-нибудь из обуви»; просил захватить «хлеба и немножко жиров», не масла, а именно жиров. Все это говорило о том, что он обносился и изголодался вконец. Но от этого образ не становился отчетливей, напротив, еще сильнее туманился, растворялся.

Куда легче, доступнее и приятнее было воображать возвышенную и трогательную встречу, где отец предстал в благообразном облике убеленного сединами страдальца.

Я так был упоен предстоящей мне ролью, что в Иванове при пересадке с поезда на поезд самолично перенес два тяжелейших чемодана с такой легкостью, словно они были набиты пухом. Когда же через час с небольшим я вылез на маленькой рохомской платформе и узнал, что до города четыре километра, то ничуть не смутился. Взяв на каждое плечо по чемодану, я бодро зашагал по булыжному шоссе. Я успел отмахать с километр, когда меня нагнала пустая телега и возница предложил подвезти. Сказочный принц, въезжающий на телеге, – это было слишком не в образе, и я ограничился тем, что сгрузил на телегу чемоданы. Только теперь почувствовал я, что тащил на себе непомерную тяжесть. Мне и сейчас кажется чудом, что я мог целый километр нести на плечах кладь, весившую добрых четыре пуда.

Легким шагом шел я возле грядки телеги, вначале еловым, густо пахнувшим лесом, затем полем и небом, и вскоре впереди показался городок с высокой каланчой и красными трубами фабрик.

Как смог я заметить вдали крошечную черную точку обочь дороги? Почему стал все пристальнее и пристальнее всматриваться в нее? Почему, когда точка обрела смутные, едва

уловимые очертания человеческой фигурки, я побледнел и пошел быстрее, в обгон телеги? Ведь мне попадалось навстречу немало прохожих: мужчины, женщины, дети. Быть может, заговорила во мне безотчетная память о последнем расставании с отцом, когда он так долго виделся мне то пятнышком, то черной точкой меж тяжелой колючей проволоки? Сейчас происходило нечто похожее, но в обратном порядке: точка, фигурка, – но узнал я отца при самом первом его появлении.

Возница хлестнул лошадь, телега поравнялась со мной. Я еще убыстрил шаг, стремясь отделиться от телеги, чтобы и отец мог узнать меня. И тут я увидел, что бредущий по дороге человек вытягивает шею, силится разглядеть меня на этом большом расстоянии. И вот он узнал, вернее, угадал меня – старым глазам не под силу пронизать такую даль. Он заковылял быстрее, прижимая сердце рукой, я видел и этот жест его, и странную, заплетающуюся, бессильную поступь: он не шагал, а как-то влачился, не отымая ног от земли.

– Папа! – закричал я и кинулся к нему навстречу.

А он вдруг остановился, словно перестав верить себе, и в быстроте случившегося я успел заметить на крошечном, усохшем, обглоданном лице, с припухлостями по худым челюстям, выражение непонятной, диковатой отчужденности и опаски.

– Папа! – крикнул я еще раз.

– Сережа? – проговорил отец с какой-то вопросительной интонацией.

Мы обнялись. Мне не удалось толком поцеловать его – на его лице не было места для поцелуя. Узенький рот провалился в завалы щек и верхней губы. Плоть опала с этого лица, на котором оставались лишь обтянутые желтой кожей кости: лоб, скулы, челюсти, нос и какие-то костяные бугры около ушей, которые бывают лишь у умерших с голода.

– Я вышел тебя встречать, – робко проговорил отец, – но не успел...

Он нагнулся и стал поправлять что-то в своем ботинке. Что это были за ботинки! Скроенные из кусков автомобильной покрышки, сшитые какой-то жилой и подвязанные веревками. На отце были штаны из мешковины, с двумя синими, ровными заплатами на коленях, и не то рубашка, не то балахон, опоясанный веревкой, некогда черный, но застиранный до белесости; на голове старая, рваная лепешечка кепки.

Подгромыхала телега и остановилась возле нас. Я подметил удивленный взгляд возницы.

– Садись, – сказал я отцу, – он подвезет нас.

– Садитесь, садитесь, – добрым голосом отозвался возница, видимо что-то поняв.

Отец подошел к телеге, взялся за грядок и отпустил его:

– Тут недалеко, лучше пешком...

Ему не под силу было забраться в телегу.

– Да нет, подведем, я тебя посажу.

Я пригнулся, поднял отца и усадил его на телегу. Из всего страшного, что мне пришлось пережить в этот день, самым страшным, до отвращения страшным было ощущение, какое я испытал в короткий миг, когда отец оказался у меня на руках. Я пережил однажды нечто подобное. У знакомых был японский кот, гигантский зверь с вершковой шерстью, он занимал целиком широкое кожаное кресло. Но когда я взял его в руки, он оказался почти невесомым, и несоответствие размера с весом вызвало неприятное, гадливое чувство. Видно, в самом слове «отец» заложена какая-то тяжесть, весомость, но то, что я подсаживал на телегу, не имело веса: было прикосновение к чему-то, но не было даже малой тяжести ребенка, куклы, под штанами и застиранным балахоном не было человеческой плоти.

Но в этом бесплотном, молчаливом существе теплились какие-то желания. Я почувствовал за спиной тихое шевеление, обернулся и увидел на коленях, обтянутых мешковиной, маленький грязный мешочек, набитый чем-то вроде опилок, и стопку ровно нарезанной газетной бумаги. Я вынул пачку «Казбека»:

– Брось эту труху, вот папиросы.

Щелкнула зажигалка, на шумном выдохе прочь от телеги полетело голубое, ароматное облачко. Что-то изменилось в неподвижно-костяной маске, ее прорезали тонкие черточки около глаз и рта, узкий шов рта чуть разошелся, и мелькнул одинокий желтый резец, и я не сразу понял, что эта слабая, натужливая гримаса означает улыбку удовольствия. А затем я ощутил прикосновение, вернее, тень прикосновения на своем колене. Опустил глаза и увидел что-то желтое, пятнистое, медленно, с робкой лаской ползущее по моей ноге. Какие-то косточки, стянутые темной черно-желтой перепонкой, лягушачья лапка, и эта лягушачья лапка была рукой, боже мой, рукой моего отца!

15. Пеллагра

Отец жил в домике на центральной площади городка, носящей странное название «имени Заменгофа». Я думал, что Заменгоф – местный герой, поднявший знамя революции над Рохмой, но оказалось, это один из творцов мертвого языка эсперанто. Какое отношение имел к Рохме творец эсперанто и почему город счел нужным назвать его именем площадь, украшенную пожарной каланчой, так и осталось мне неизвестным. То была одна из кривизн кривого и уродливого провинциального городка, в котором отцу предстояло окончить жизнь.

Пристанище отца, узенькая летняя горенка мне напоминала чем-то лагерную фанерную сторожку, едва не ставшую нашей ледяной могилой, и первые мои движения, когда мы оказались в горенке, словно были заимствованы из той же далекой поры. Я сразу раскрыл чемоданы и стал вываливать на стол консервные банки с тушенкой, колбасой, рыбой, сгущенным молоком, калабашки хлеба, масло, сахар, сыр, ветчину, а также одежду – костюм, рубашки, носки, галстуки, обувь. Отец молчаливо и сосредоточенно следил за моими движениями. Он ни о чем не спрашивал, равнодушный ко всему, кроме питательных веществ, исчезнувших из его тела. Он взял довесок к желтому килограммовому бруску сливочного масла и стал есть его без хлеба.

– Ты бы переоделся, – сказал я. – А потом будем завтракать.

– Да, да... – откликнулся он, как эхо.

Не выпуская куска масла из рук, он сгреб со стола одежду и пошел в угол переодеваться. Тем временем я сходил на половину хозяйки и попросил ее поставить самовар. Она сидела на постели, пожилая, неприбранная, с одутловатым лицом и мокрой, отвисшей нижней губой, и чесала синюю мертвую ногу. На мои слова она никак не отозвалась, пальцы продолжали корябать неживую плоть, оставляя на коже белые, быстро краснеющие полосы.

– Вы заварите и на свою долю, – догадался я сказать, протягивая ей пачку чая и рафинад в синей обертке.

Она сразу перестала чесаться и тяжело поднялась с постели.

Когда я вернулся в горенку, отец успел переодеться. Но и в хорошем синем костюме, в рубашке с галстуком и желтых полуботинках он выглядел не лучше. Пожалуй, эти вещи еще более подчеркивали страшную его худобу. Он ссыпал в горстку сахарный песок и отправлял в рот. При этом он как-то искоса, дурным глазом поглядывал на банку со сгущенным молоком. Я достал консервный нож и открыл банку. Несколько жирных сладких капель упало на стол. Отец подцепил их пальцем, слизнул, и снова на лице его появилась та же незнакомая, состоящая из нескольких черточек в углах глаз и рта улыбка.

– Какая вкусная вещь, – проговорил он.

Я дал ему чайную ложку. С серьезным, сосредоточенным видом он подсел к столу и стал ложкой есть сгущенное молоко.

– Это пеллагра, – сказал он вдруг после четвертой или пятой ложки, осторожно отодвигая банку. Встал из-за стола и побрел к окну.

Мне показалось, что отец сейчас заговорит со мной, спросит о чем-то, но он вдруг повернулся, с серьезным, даже угрюмым выражением подошел к банке и съел еще ложку молока. И еще одну, задумчиво, медленно, дегустируя забытый продукт всеми своими чувствами, всем существом, осваивая мозгом благодатное, животворящее чудо, заключенное в густой, сахаристой молочной гуще.

Хозяйка внесла самовар и чашки, потопталась у стола и, получив от меня белую булку и кусок колбасы, убралась восвояси. Отец не стал пить чай, видимо, он не нуждался в жидкости. Зато с новой силой набросился на масло, сыр, колбасу. Но сгущенное молоко не давало ему покоя, он то и дело опускал туда ложку и отправлял в рот очередную порцию. Он даже

несколько кокетничал с банкой. То с хозяйской уверенностью брал ее в руки и не спеша обскребывал ложкой стенки, то подбирался к ней с воровской опаской и быстро похищал всего одну драгоценную капельку, то, не глядя, с рассеянным видом погружал ложку в желтоватую густоту и зачерпывал через край.

– Тебе будет плохо, – сказал я.

– Да, да... – отозвался отец и отложил ложку.

Но через секунду я увидел вдруг, как он утайкой сунул в банку палец и облизал его.

Грустно и тяжело было мне видеть моего деликатного, лишенного всякой жадности отца в такой физиологической униженности. Конечно, вскоре ему стало нехорошо, отвычный желудок не удерживал пищи. Он успел выйти во двор, и там его стошнило. Он вернулся, съел какой-то кусочек, и его опять стошнило. Затем началось расстройство желудка. Бедный отец, шатаясь, бродил от горницы к дощатой скворечне, стоявшей посреди рослых лопухов, в глубине двора, и обратно, все более слабая от раза к разу. При этом он не мог удержаться от того, чтобы не съесть кусочек чего-нибудь и не перехватить ложечку сгущенного молока. У меня шевельнулось ужасное чувство, что своей помощью я гублю его, но я ничего не мог поделать. У меня не хватало духа отнять у него всю эту снедь.

Вот отец снова вошел в горенку, издавая не губами, а западинами щек какой-то странный звук: пуф, пуф, словно лопались пузырьки воздуха. Быть может, у него началась изжога?

– Хочешь выпить соды? – предложил я.

– Нет, – сказал он со слабой своей и сейчас чуть хитровой улыбкой. – Я лучше съем ложечку сгущенного молока.

Он шагнул к столу, и у него упали брюки, видимо, не было сил как следует их застегнуть. Я увидел его ноги: тоненькие палочки, с неправдоподобно большими и круглыми ядрами колен.

Мы с ним – едина плоть, на какой-то миг я перестал все это видеть со стороны; его немощь, его страдание, его боль вошли в меня, я ощутил шаткость оскобленных голеней, тяжесть ядровых костяных колен, сосущую пустоту неуголимого голода во всем теле, меня замутило и как-то нехорошо повело.

Я не мог больше оставаться в этой комнате, мне необходимо было найти какой-то упор, вернуться к трезвой и прочной обыденности. Все, что было во мне здорового, жадного к жизни, взбунтовалось против гипнотического, заражающего мозг и душу больного дурмана происходящего. По счастью, отец пришел мне на помощь.

– Я немного сосну, – сказал он и бессильно повалился на кровать.

– Ну, а я пойду по делам, – отозвался я. – Ведь я приехал сюда в командировку, иначе не достать билет на поезд. Зайду в райком, оттуда на фабрику, познакомиться с рационализаторами...

Я говорил в пустоту – отец спал, нехорошо, мертво открыв рот.

Ни одно свое корреспондентское задание не выполнял я с таким вкусом и рвением, как это, которым вполне мог пренебречь, – в редакции понимали, что я взял командировку по личным мотивам. Никогда еще не входил я с таким удовольствием в кабинет секретаря райкома: меня радовал даже неизбежный стол заседаний, крытый кумачом, в перламутровых чернильных пятнах, пыльные гардины на окнах, портреты на стене и самый облик секретаря, неизменный под всеми нашими широтами и долготами: коверкотовый френч, застегнутый на все пуговицы, и такие же брюки, заправленные в сапоги.

Райкомом спасал я себя сейчас от того, что случилось с отцом, я спасал себя льнокомбинатом, куда мы направились вместе с секретарем райкома, спасал болтовней о рационализаторах производства, передовыми яслями, доской почета, стахановцами, новатором-директором, наконец, столовой, где меня, московского гостя, наперебой потчевали секретарь и директор.

Когда, несколько окрепший, я вернулся в домик на площади Заменгофа, отец доедал остатки сгущенного молока, выскребывая ложкой жестяную банку.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил я.

– Лучше... – Он словно прислушался к тому, что творилось внутри него, и повторил: – Лучше.

Ободренный этим, я принялся рассказывать о своем походе: о том, как меня приняли в райкоме и на льнокомбинате, о собранном материале, об отличном обеде, каким меня накормили в директорской столовой. В этом рассказе был свой тайный подтекст. Отец всегда относился с уважением к власти, я хотел показать ему свою близость с рохомским начальством, чтобы вселить в него чувство жизненной уверенности. Но он остался глух к моему рассказу. Все, что ему от меня было нужно, лежало перед ним: масло, баночки со сгущенным молоком и консервы, консервы, консервы. Только раз на лице его отразилось внимание: когда я рассказывал о столовой.

– Значит, ты уже пообедал, – сказал он задумчиво. – А я просил хозяйку отварить картошечки.

Еще не стемнело, когда мы легли спать. Я курил одну за другой папиросы и никак не мог заснуть. Едва я задремал, в окошко сильно и зелено ударил молодой, вполкруга, месяц и прогнал сон. Месяц зазеленил белые стены горенки, через весь пол уложил угольный крест оконного переплета; загадочной черной грудой высились на столе неубранные харчи. И вот отец, спавший тихо, как мышь, с коротким стоном перекатил голову по подушке, поднялся и, вытянув вперед руки, зеленоликий, как русал, прошел к столу, нащупал какой-то кусок и стал жевать. Затем медленно прошлепал к кровати, долго-долго, по-детски вздохнул и лег. И еще не раз в продолжение этой бессонной ночи я видел, как спазмы неодолимого голода, прерывая тяжкий сон отца, заставляли его путешествовать от постели к столу.

16. Голубое дерево

Проснувшись утром, я сразу почувствовал: что-то произошло. Отец сидел на своей койке и курил. Лицо его было видно вполоборота, и вот с этой обращенной ко мне половинки ласково и заинтересованно глядел на меня живой, прозрачный темно-карий глаз. Вчерашнее наваждение кончилось: больной, измученный, высосанный голодом, отец снова вернулся ко мне.

Он был страшно слаб, вид еды все так же томил его и притягивал, порой с ним происходило нечто вроде голодного обморока, и все же я понял, что пережитое не только не сломило отца, но даже не затронуло его внутренней сущности. Никакой озлобленности, никакой приниженности, мудрая покорность, но не рабье смирение, прежний добрый интерес к жизни и к людям, прежняя готовность к шутке: он назвал Рохму «последней хохмой» своих дней. Обо всем, что случилось с ним, он говорил спокойно, просто, очень скупое, не жалуясь, не возмущаясь, не размазывая своих страданий. Впоследствии я убедился, что только слабые люди охотно говорят о тех надругательствах, каким их подвергали в лагере. Люди, обладающие какой-то гордостью, никогда не признаются, что их мучили, били, пытали. Они предпочитали обелить своих мучителей, чем выставить на всеобщее обозрение свое поправное человеческое достоинство. Отец, хлебнувший полную меру лагерной судьбы, переживший в лагере жестокость военной паники, конечно же испытал немало унижительного и страшного. Но лишь раз, с крайней неохотой, признался он, что на этапе конвойный ударил его прикладом. Впрочем, мне кажется, матери он говорил больше. Меня же он щадил, считая, что я молод, мне жить и жить и ни к чему знать, как из человека вышибают душу.

Сам он был, как алмаз, который можно надрезать только алмазом, но перед которым бессильны все самые мощные и грубые орудия из железа и стали. А я не был алмазом, я принадлежал к несчастному и нечистому поколению, родившемуся после революции: порядочный в меру сил, стойкий в меру сил, добрый в меру сил – иными словами, на самом краю способный к выбору между гибелью и предательством. Для отца такого выбора не существовало, он знал только гибель. Вот почему был он так целен и душевно необорим. Он был Лоэнгрином по духу, чистоте, стойкости, этот маленький, обессиленный человек в спадавших штанах, а под латами, перьями и бархатом его избавителя скрывался Тельрамунд. И я-то приехал вселять в него силу жизни, стойкость и твердость! Все утро до самого моего отъезда изливалась из него на меня эта животворная, добрая сила, это величайшее, быть может, благо – умение жить, не ожесточаясь сердцем, уважать радость своего существования, идти вперед, не оставляя на шипах жизни ключев души, как шелудивый пес оставляет на репейнике ключья шерсти.

Конечно же не в поучениях сообщал он мне все это: отец никогда не говорил со мной менторским тоном, он держался скорее как младший со старшим, но так оно само собой получалось, о чем бы ни шел разговор между нами. И в какой-то момент, со своей необыкновенной чуткостью к тем, кого любил, он почувствовал, что я не высок, не так высок, как мне бы самому того хотелось. Он угадал во мне несостоявшегося принца и захотел поднять меня до него.

– Знаешь, у тебя здесь вот, – он показал на мой правый висок, – есть что-то героическое.

Я поразился его проницательности. У каждого молодого человека есть во внешности что-то, что придает ему уверенности. Чаще всего какая-нибудь очевидность: у одного – усики, у другого – бачки, у третьего – прическа, у четвертого – манера держать голову. В этом моем виске, с просто и гладко зачесанными назад волосами и намечающейся легкой залысиной, не было ничего примечательного, но когда я разглядывал себя в зеркале, то видел прежде всего этот висок. И тогда лицо мое казалось мне летящим, оно освобождалось от

обычной грубой тяжести. Но понять это можно, лишь став на мгновение мною. Отец мог быть мною так же, как и я мог быть им...

Уезжал я днем, отец пошел меня проводить. Мы медленно двинулись через площадь к булыжному шоссе, соединяющему городок со станцией. После двух-трех шагов отец останавливался и, прижимая сердце рукой, переводил дыхание. Нам понадобилось более получаса, чтобы пересечь площадь Заменгофа, и за это время я так пригляделся к ее слепым, недружелюбным домишкам, розовой бессмысленной каланче, деревянным воротам и фанерным кассам городского сада, к нищим торговым рядам, к важным и злым гусям, оспаривающим большую, как сама площадь, лужу у по-собачьи худых свиней, что возненавидел эту площадь на всю жизнь.

Наконец каланча отвалилась вправо, перед нами возникло многоцветное после недавнего дождика шоссе, цепочка убегающих вдаль телеграфных столбов, свежая зелень полей и целый город туч, громоздивших свои купола, башни, шпили на краю синего легкого неба. И свежо, тревожно, щемяще пахнуло землей и молодой умытой травой. То ли прибыток свежести перебил дыхание отца, то ли близкая разлука сдавила сердце, он остановился и долго стоял, опустив голову и тяжело, с носовым присвистом, дыша.

– Не надо меня провожать, – сказал я, – ступай домой, а то я буду беспокоиться.

– Нет, нет, – ответил отец решительно и серьезно. – Идем!

Мы двинулись дальше, и шли так медленно, что обгонявшие нас прохожие долго, с удивлением оглядывались. Через несколько шагов отца снова схватило. Побледневший, с вытаращенными глазами, он стоял, вцепившись пальцами в грудь, будто хотел поймать ускользающее сердце.

– Нет, нет, – сказал он, опережая мой робкий протест. – Мы должны идти. Мы должны дойти вон до того столба. – И такая несвойственная ему решительность была в его голосе, что я замолчал.

Отец не отличался ни упрямством, ни суеверностью, нервная игра в загадывание была ему чужда, но сейчас ему почему-то необходимо было дойти вон до того столба, дойти, не сдаться, хотя бы оборвалось сердце на этом мучительном, коротком пути. Быть может, он делал какую-то важную внутреннюю проверку, быть может, хотел вскрыть в себе тот потайной запас сил, без которых ему не дожить до новой встречи. Он ломал свою немощь, подымался над бессилием и шел, шел вперед.

Один столб, второй, я боюсь смотреть на отца и невольно прибавляю шаг, словно дело во мне: дойду я или не дойду? Но мне кажется, что этим я помогаю отцу, словно тяну его на незримом буксире. Он отказывается от моей помощи – сильно наклонившись вперед, почти падая с каждым шагом, он обгоняет меня и прикидается к столбу, коснувшись его сперва вытянутой вперед рукой, а затем и всем телом. И я кладу свою ладонь рядом с его рукой на влажную, теплую, неслышно вибрирующую и оттого кажущуюся живой округлость столба. Мы смотрим друг на друга: свершилось что-то важное, одержана победа, не знаю только над кем и над чем.

– Ну вот, новелла завершена, – сказал отец. – Для этого я уцелел. – Он посмотрел на меня со странной улыбкой и добавил: – Ты понимаешь, я сам выбрал это место, сам. Мне никто не приказывал.

Некоторое время мы стоим молча. Впереди, над лесом, в той его стороне, куда ведет дорога, высится мощная, густая крона какого-то дерева. Дуб ли это, или вяз, или старая плакучая береза – отсюда не разобрать. Над ярко-зеленой, зубчатой стеной елового леса его щедро облиственная крона выглядит голубой, ее перерезает стежок тумана, испарение недавнего дождя, и кажется, будто крона свободно висит в воздухе.

– Я приеду через месяц, – говорю я отцу, – и мы дойдем с тобой вон до того дерева...

Я быстро шел к станции по твердо утоптанной тропке, тянувшейся вдоль шоссе. Голубое дерево висело над лесом, и впервые мне казалось, что оно совсем недалеко, у самой опушки, затем оно отодвинулось дальше, в глубь леса, а когда я ступил в терпкое благоухание влажного, прогретого солнцем ельника, оно сделало скачок и оказалось за полотном железной дороги. Но вот я подошел к полотну, и голубое дерево скрылось за редким осинником – над тонкими, трепещущими верхушками осин высился его мощный и легкий купол, и я понял, что оно недостижимо для нас с отцом – голубое дерево счастья.

17. Под небом Рохмы

Да, счастья не было, какое уж там счастье! Но жизнь шла, и были в ней свои про-светы, хотя гораздо больше темного, печального и трудного. Правда, следующий мой приезд – а приехал я ровно через месяц, – принес мне радостное и гордое чувство. На площади имени Заменгофа встретил меня маленький, худой джентльмен, очень прилично одетый, для Рохмы даже слишком щеголевато, с живой улыбкой, бодрыми жестами, но с очень медленной поступью. Отец отъелся, вставил зубы, отчего исчезли ужасные провалы под скулами, нарастил плоть на кости, он не мог только вернуть сорванного сердца. Но и в том, каким он себя воссоздал, сказала та изумительная живучесть, что так восхищала маму.

Он жил теперь у другой хозяйки, неподалеку от Большой рохомской мануфактуры, куда устроился работать плановиком. Прежняя его хозяйка не удовлетворилась ранее назначенной, довольно высокой, платой за комнату, и отцу пришлось переехать. В дальнейшем он еще не раз вынужден был менять адрес. Как только хозяйки убеждались в платежеспособности отца, у них тотчас же разгорался аппетит. Им легче было потерять выгодного и кроткого жильца, чем жить с мыслью, что они, упаси бог, чего-то недополучили.

Маленькая Рохма с ее двумя текстильными комбинатами могла бы считаться рабочим городом, но рабочих в настоящем смысле там почти не было. Были крошечные землевладельцы, отбывавшие рабочую повинность, – это давало им возможность и право иметь огород, корову, свиней, птицу, пользоваться выпасами вокруг городка и спекулировать помаленьку в близлежащем Иванове. Таковы были коренные рохомчане. Кроме них, на Большой мануфактуре и на льнокомбинате работали пришлые люди, кем-то и где-то мобилизованные женщины, нетрезвые, разнузданные и несчастные; были также инвалиды войны, считавшиеся годными для службы в тылу. Этот народ ютился в бараках и к настоящим горожанам не принадлежал. Лицо города создавали квартирные хозяйки отца, настолько жадные, что корысть обращалась им же во вред.

Отца не любили там, в Рохме. Ни его безобидность, ни его слабость, ни его ровный, кроткий и веселый характер не могли защитить его от ненависти рохомчан. Они ненавидели отца и за то, что он сидел в лагере, и за то, что он вышел оттуда, и за то, что он не умирает с голода, не ходит босым и голым, за то, что сын у него писатель, и сын этот не бросил его в беде. Впрочем, стоило мне раз замедлить присылку денег, как я получил анонимное письмо с угрозой сообщить в Союз писателей, что я не помогаю старику отцу. Неведомый автор письма менее всего руководствовался желанием сделать отцу добро, он хотел лишь поквитаться со мной за то добро, которое я делал отцу.

Помню, в пору второго моего приезда в Рохму мне довелось побывать у отца на фабрике. Готовился очередной отчет, и отца заставили проработать половину его отгулочного дня. Как некогда в лагере, прошел я следом за отцом и к его рабочему столу, знакомясь по дороге с сотрудниками отдела, пожимая чьи-то руки, выслушивая чьи-то имена и называя свое; а затем я следил за работой отца, слушал забытый потреск арифмометра и звонкий щелк счетных костяшек. Все было, как в то далекое время, и все было по-иному. Я не поймал ни одной улыбки, ни одного доброго и заинтересованного взгляда, ни разу не уловил в ладони при рукопожатии ответного тепла. Люди глядели хмуро и настороженно, вяло совали потные руки и тут же отдергивали, и единственный вопрос, заданный мне сотрудницей, касался рыночных цен в Москве. И отец работал уж не с прежним блеском. По несколько раз проверял он свои расчеты, сердился на арифмометр, порой досадливо морщил лоб, видимо теряя какую-то цифру, что-то перечеркивал и начинал сначала. Сузившиеся сосуды плохо орошали мозг горячей, живой кровью.

Впрочем, работал он в одиночестве. Его начальник Шаров дважды надолго оставлял помещение отдела, чтоб разгружать хлопок. Грузчиков не хватало, и к этому делу привлекали сотрудников управления. Но работа была настолько тяжелой и грязной и оплачивалась так мизерно – полкило черного хлеба и несколько ничего не стоящих рублей, – что никто, кроме Шарова, за нее не брался. Шаров – местный старожил и самый зажиточный в городе человек, у него было большое молочное хозяйство с маслобойкой и сыроварней, фруктовый сад и теплицы. Но он не брезговал даже таким грошевым приработком, настолько полно воплощался в нем рохомский тип.

Другая сотрудница отдела все время бегала кормить грудного ребенка, третья, едва показавшись, отпросилась за какой-то надобностью в Иваново, четвертый был нетрезв – он либо дремал, либо шумно, с отчаянным лицом пил воду из графина; наконец, пятый, моложавый и серьезный, сперва долго читал газеты, затем вышел покурить, вернулся, что-то прибрал на своем столе и снова удалился в курилку.

Но все эти равнодушные к делу, полусонные люди про явили внезапный интерес, как только по вине отца случился в отделе острый разговор. Мой выпитый лагерем отец не только сохранил большую добросовестность в работе, чем все окружающие, но и куда большее легкомыслие, идущее от нежелания расстаться с собственной личностью. Было так: кормящая мать, полная, тяжелогрудая, плоскозадая, с чисто рохомским лицом – упрямо-костяным, запертым на все замки, затаенно подозрительным, – пожаловалась, что в доме у нее развелось множество крыс.

– А вот у нас в лагере крыс употребляли в пищу, – заметил отец, отрываясь от арифмометра.

Воцарилась нехорошая тишина – тишина не сна, а пробуждения. Слова отца расколовали это сонное царство, как поцелуй принца – двор спящей красавицы, но только здесь родилось не движение, а напряженный покой охотничьей стойки.

Моложавый сотрудник перестал скручивать очередную сигарку, пьяница отнял горлышко графина от губ, запертое лицо кормящей матери замкнулось еще на один замок.

Но вот эти добрые люди испугались собственной тишины. Моложавый сотрудник двинул стулом, что можно было расценить и как протест, и как готовность принять меры; пьяница крикнул; а кормящая мать, отвечающая не за одну себя, но и за рожденное ею беспомощное существо, произнесла деревянным, страшноватым голосом:

– Зачем же это вы так делали?

– Ну, конечно, затем, – с легкостью ответил отец, – чтобы уничтожить грызунов.

Не трудно догадаться, к чему бы привел этот разговор, если бы на выручку отцу не подоспел вдруг вернувшийся с разгрузки хлопка Шаров.

– Зачем задавать бессмысленные вопросы? – резко сказал он кормящей матери. – Вы что, маленькая, сами не понимаете?

Этого было вполне достаточно, чтобы все сразу же утратили интерес к разговору. Кормящая мать держалась в отделе только милостью Шарова, как, впрочем, и двое других сотрудников; все они, в сущности, ничего не умели и по одному слову Шарова могли лишиться работы.

Шаров защитил отца отчасти потому, что ценил его как работника, отчасти потому, что, при всей своей жадности, был порядочным человеком. К тому же в глубине души он был убежден, что отец сидел за дело, и по-кулацки не мог ему не сочувствовать. Он простер свое расположение до того, что пригласил нас в гости. Вечером мы побывали у него, полюбовались его образцовым хозяйством, прекрасными яблонями и вишенником, смородиной и крыжовником в щедрой завязи, поглядели, как ловко старшая дочь Шарова доит великолепную костромскую рыжуху, как бойко сбивает масло средняя дочь, как трудолюбиво кормит меньшая свиней, поросят, кур, уток, гусей.

Шаров о чем-то пошептался со своей старухой, и мы видели, как она потащила в сени большой серебристый самовар, а старшая дочь принесла из сеней крынку коричневых сливок и вазочку с медом, в котором плавали прозрачные пчелиные крылышки. Но угощения мы так и не дождались: видимо, в последний момент у Шарова не хватило духу расщедриться. Попрощавшись с «гостеприимными» хозяевами, мы двинулись восвояси ночной Рохмой, столь же нелепой, некрасивой и непозтичной, как Рохма дневная.

18. Близкие люди

В последующие годы я еще не раз приезжал в Рохму, и каждая новая поездка давалась мне все труднее. Я не только не привык к своему раздвоенному существованию, напротив, ощущал его все мучительнее, стыднее и горше. В поезде я еще был облечен в московскую броню; когда же впереди возникали знакомая колокольня и красные трубы Большой рохомской мануфактуры, с меня сползала не только броня, но и кожа. Я чувствовал себя голым и незащищенным: любой встречный человек мог причинить мне зло. Этот переход «из князи в грязи» бесконечно унижал и оскорблял меня.

Зыбкость, раздвоенность тогдашнего моего существования навсегда заронили в меня предощущение какого-то окончательного несчастья, позорного разоблачения. Порой возникал соблазн покончить со всем этим, открыть свою рохомскую тайну и зажечь в новом, пусть униженном, но цельном образе. Я не имел права так поступить: ведь это означало катастрофу и для отца тоже – я был источником его существования.

Слишком слабый для того, чтобы быть последовательным, я лишь наполовину осуществил мамино решение. В Москве для всех даже самых близких мне людей отец-узник оставался неизвестным, но сказать об этом отцу я не нашел в себе силы. Он напропалую, без всякой осмотрительности, выхвалял меня в Рохме, и я все время со страхом ждал, что какой-нибудь рохомский странник постучится в дверь моего сановного тестя с просьбой о пристанище или трудовом устройстве. Я был как вор, ожидающий, что его вот-вот схватят за шиворот.

Несказанно угнетала меня и бесперспективность судьбы отца. То была драма без катарсиса, без спасительного очищения. Я уже не мог, как некогда, мечтать о торжественном и трогательном освобождении отца из оков, о его возвращении в Москву, в дом, в свет и счастье до конца дней. Никогда не смогу я взять его за руку и смело, открыто и гордо вывести пред лицо людей. Между мной и этой мечтой воздвиглась неодолимая стена лжи: вся моя новая биография, такие легкие и тяжелые, как сама судьба, листки анкет. Вычеркивая отца из своей биографии, я вычеркнул его из главной моей мечты, той мечты, что с юношеских, даже детских лет казалась мне последним и высшим смыслом моей жизни. Ничто не окупиется в будущем: ни претерпленные им бессмысленные и жестокие страдания, ни слезы его и мои; напрасен был подвиг его жизнестойкости, мужества и его терпения. Голубое дерево счастья – только мираж.

В ту пору, о которой я сейчас пишу, отец еще многого не знал, хотя, быть может, кое о чем догадывался. Но он не прошел наших испытаний страхом – он провел все эти годы над страхом – и потому не достиг такой утраты личности, такой предательской и спасительной изощренности, что позволяет жить между подвигом и подлостью. Он был очень наивен и жестоко платился за эту наивность...

Вот как бывало в первые годы после войны, когда между Москвой и Рохмой восстановилась телефонная связь...

Отец входит в небольшое, теплое помещение телефонной станции. За барьерчиком девушка с мутными от бессонницы глазами раздраженно тычет медные наконечники проводов в номерные щитки. Она вкладывает в свои движения столько ожесточенной силы, словно хочет пронзить щиток насквозь.

Отцу казалось, что сегодня обязательно выйдет, но сейчас надежда оставила его. Он стоит у барьерчика, не решаясь заговорить. В четвертый раз приходит он сюда. Немало потребовалось времени, чтобы он отважился позвонить. Разговор стоит двадцать пять рублей. Это кружка молока, это кило картофеля, это полкило хлеба. Наконец ему стало невыносимо, желание услышать родной голос пересилило вновь пробудившиеся муки голода.

Три раза приходил он сюда безуспешно, и вот явился в четвертый. Для этого пришлось встать в пять утра. Пробуждение было убийственным, ведь сон – единственная благодать, избавляющая от тоски и от требовательной муки вновь оздоровевшего и ожадневшего тела.

Как всегда, при пробуждении он увидел, что комната заставлена с детства знакомыми вещами, застывшими в темноте плотными сгустками тьмы. Буфет, огромный, как замок, – в детстве он и был замком, который не раз штурмовал он с покойным братом; за ним платяной шкафчик, кованый железом сундучок няни, рогатые велосипеды, прислоненные к стене, два письменных столика, побольше – брата, поменьше – его. Все это виделось, неоспоримо виделось, протяни руку – и ты коснешься вещей своего детства. Но он никогда не делал этого после первого же разочарования. Он ждал, когда вещи исчезнут сами, растаяв с первым светом, проникающим сквозь неплотный ставень. И верно: вот исчез платяной шкаф, затем столики, велосипеды. Дольше всех держался буфет. Уже растворился его низ, а резной верх средней башенки еще висит под потолком, затем и он исчезает. Остались голые стены пустой комнаты, где только и было что его лежаночка да фанерка на четырех поленьях – стол.

Уже сколько лет просыпается он в помещениях без вещей: нары и деревянные стены барака, ветки шалаша да клочок неба с близкой и большой, как молочная капля, Полярной звездой; наконец, рохомские комнаты, тоже пустынные, потому что хозяйки при сдаче внаем выносят из них вещи. Хитрое подсознание придумало ему в утешение этот трюк: заполнять комнату вещами его детства. В первый раз он поверил миражу, встал, пошел к вещам, протянул руку – и тронул шершавую голую стену. Больше он не делал этого, довольствуясь маленьким, коротким благом видеть их в течение нескольких минут полудремы-полуяви...

Он вышел на улицу. Свет уже родился где-то на краю неба, четко обозначились верхушки старых деревьев, но на земле все оставалось черным, лишённые очертаний предметы словно бы слипались. Он знал, что, когда дойдет до телефонной станции, будет совсем светло. Три тысячи шагов, отделяющие его от нас, он рассчитывает пройти за полтора часа, к тому времени все изменится в природе: краски, звуки, температура...

Он расчленил свой путь: первый привал – на лавочке возле фабричной проходной; второй – у перил мостика через речку; последний – на скамье возле городского сада. Самым тяжелым был первый этап: от дома до проходной. Здесь дорожка чуть приметно шла в гору, и сердце болезненно отзывалось на каждое усилие тела. Он знал наперед, что сердце будет поминутно замирать, затем бешено колотиться, чтобы протолкнуть медленную кровь по тонким нитям сосудов. Это нужно суметь пережить – не торопиться, не вышагивать по-солдатски, а ступать так, как ходят маленькие дети по лестнице, – становясь обеими ногами на каждую ступеньку, – расчетливо, спокойно, и тогда дойдешь, обязательно дойдешь.

Когда он взошел на мост, сумрак разределся, на лиловатой от фабричных отходов воде лежали красные отсветы восхода, кирпичный фасад прядильной фабрики горел, словно объятый пламенем. Едва он достиг городского сада, тьма стянулась к подножию деревьев, домов, заборов, воздух опрозрачнел.

Теперь сердце опять застучало больно, но уже не от трудностей пути, от надежды. Прижми к груди ладонь и ни о чем не думай, старайся глядеть по сторонам: вон тащится на рынок телега с серебряными бидонами, вон баба несет в корзине гуся, наружу торчит длинная шея и маленькая глупая голова с огромным красным клювом.

И вот уже перед тобой будочка телефонной станции – ты дошел, и это еще не последний твой путь!

Девушка не замечает его, она вырывает наконечники из круглых дырок и вонзает их в другие. Не туда! Тряся кистью, она извлекает наконечники и всаживает в соседнюю дырку. Он чувствует зависть к ее грубым, своевольным движениям, к тому, что она может не скрывать своего раздражения, не замечать прищельца.

– Позвольте вас побеспокоить, – говорит он наконец. – Вы обещали мне сегодня...

Звонят медные наконечники, ударяясь об алюминиевый щиток. Девушка соединяет чьи-то голоса. Одно движение ее руки – и незримая ниточка разговора протягивается в утреннем просторе. Легкость, с какой она это делает для других, подавляет его. Он не в силах повторить вопроса. Девушка говорит сама:

– Подождите. Большая мануфактура на проводе.

Он ждет. Ждет долго. Он представляет себе чужой разговор:

– Как по суровью?

– Подбиваем по суровью...

– Значит, вытягиваете?

– Вытягиваем...

– По миткалю?

– Подбиваем по миткалю...

– А по чесуче?

– Подбиваем по чесуче...

...Телефонный звонок, дребезжащий и долгий, вонзился в утренний сон семьи, как сигнал бедствия. Он разбудил всех, но никто не поднялся.

– Что это? – испуганно спрашивает моя жена.

– Одна наша старая родственница. Наверное, опять денег просит.

– Хоть бы она подохла скорей, – вздыхает жена и натягивает одеяло на голову.

– ...Не отвечает ваша Москва, – сказала со злобой телефонистка.

– Они спят... они проснутся... Очень вас прошу, попробуйте еще раз...

Телефонистка покрутила ручку аппарата еще и еще. В трубке слышались разряды, шелест, словно ветер проплутал осенней лесной дорожкой; тонкий гудок, тихий и частый постук, будто дождик барабанит по листьям; вдруг какая-то музыка возникла далеко, резко нарастая в силе, приблизилась и снова отхлынула, исчезла вдали. Голос пространства тревожен и печален, от него щемило сердце. И вдруг далеко-далеко, с другого конца света, но совсем отчетливо услышал он голос своей бывшей жены:

– Да?..

Тоненькая ниточка наконец-то протянулась к нему, и как ни тонка она была, он почувствовал себя сильнее близостью ныне чужой, пусть закрытой для него навсегда семьи. Он закричал:

– Здравствуй, Катенька... Как вы живете все?..

– Ничего. – Голос сух и отстраняющ. Но может быть, это расстояние делает его таким? Крепко зажав в руке трубку, словно боясь, что ее отнимут, он кричит:

– Как Сережа?..

– Ничего...

– Что он поделывает?..

– Ничего...

В голосе раздражение. Интонация, знакомая ему с давней поры их близости, но менее всего ожидал он встретить ее сейчас. У него заболело сердце глухой, тревожной болью. Он не может спросить, как не мог спросить все эти годы: за что с ним так? Ему вспомнилась длинная, трудная дорога, которой он шел сюда и которой ему предстоит идти назад...

...Стоя босыми ногами на полу, бывшая жена отчетливо слышала все большую робость, потерянную его голоса. Но что могла она поделать? Если б хоть не так рано было, она бы нашлась, но не варит тяжелая со сна голова. Сказать хоть бы что-нибудь.

– Как твоё здоровье?

– У меня две болезни: сердце и очень хороший аппетит, – шутит он с другого конца света.

Она чувствует слабую надежду в его голосе.

– Ничего не поделаешь, всем худо, – говорит она, совсем-совсем не то, чего он ждет, говорит и сама чувствует это.

Ей хочется сказать, что она не виновата, но не находит слов, и тоненькая ниточка обрывается.

А что было ей делать? Она не могла даже назвать его по имени – у сына ночевала жена, а жена ничего не должна знать. Боже упаси, чтобы она догадалась...

19. «Каморки»

Ненасытная жадность рохомских хозяек привела отца в «каморки» – нечто вроде рабочего общежития при Большой рохомской мануфактуре. Громадное четырехэтажное кирпичное здание «каморок» было построено еще Кущинским, прежним владельцем фабрики, в этом угадывалась какая-то либеральная затея.

Комнаты общежития с высокими потолками и большими окнами выходили в широкие, просторные коридоры, тянущиеся во всю длину здания. В конце каждого коридора располагались обширные общественные кухни и места общего пользования. В нижнем этаже находились душевые и прачечные. «Каморки», как окрестили в Рохме коммуны Кущинского, не имели успеха. Рабочие стремились к земле. Одинокие достигали этого женитьбой на коренных рохомчанках, семейные предпочитали ютиться в убогих лачужках, но при своем наделе. В результате «каморки» стали обиталищем рабочих подонков: безмужних баб, гулящих девок, пьянчужек – словом, всякого деклассированного сброда. В пору революции и разрухи состав обитателей «каморок» стал еще более пестрым: какие-то странники и странницы, безногие и безрукие солдаты, нищие «женки» с многочисленными детьми; густое человеческое месиво набило их от душевых и прачечных до мест общего пользования. Пустовали лишь кухни: огромные, никогда не озарявшиеся веселым треском огня плиты, они не оставляли «жизненного пространства».

В иных комнатах ютились по две-три семьи, в иных располагался на просторе единственный владелец или владелица. Все комнаты слали в коридор густые, несвежие запахи еды и, словно гигантские шмели, неугомонно жужжали примусами. Кухнями Кущинского от века никто не пользовался, они были построены в расчете хоть на какое-то общественное начало в быту обитателей каморок, и это сразу определило их нежизнеспособность. Даже совместная закупка дров оказалась недоступным делом для этих разобщенных, подозрительных, тайно и явно ненавидящих друг друга людей.

Коренные рохомчане от души презирали обитателей «каморок». Жить здесь – значило морально опуститься, безнадежно пасть в общественном мнении. Отца это мало тревожило, его огорчало другое – он не имел тут отдельной, пусть бы и плохонькой комнаты, а снимал угол у хозяйки, богомольной суздальской «женки», немолодых лет, работавшей в какой-то артели.

Когда я посетил отца в этом новом его обиталище, то понял, что его не будут тут донимать ни непрерывно растущей квартирной платой, ни платой за услуги: остывший самовар утром, горшок холодной каши вечером. Опасность подстерегала его с другой стороны.

Хозяйка, с постным, будто обмазанным лампадным маслом лицом и с блестящими, слишком жадными глазами, поглядывала на отца, как мышь на крупу. Бесшумно и быстро переноса по комнате свое легкое тело, округло выступающее из широкого платья, она все время рылась то в постели, то в комод, то в шкафу, словно никак не могла отыскать нужную ей вещь. Она придумала себе это занятие, чтобы не оставлять нас вдвоем. То ли она опасалась, что я настрою отца против нее, то ли ее возбуждало присутствие двух мужчин. Я чувствовал, что дело может плохо кончиться для моего слабого, не способного на сопротивление отца.

Наконец хозяйка вызвалась купить водки. До этого я ни разу в Рохме не пил. Мы дали ей денег, и, обвязавшись глухим шерстяным платком, она выметнула в коридор свое беспокойное тело.

– А хозяйка явно имеет на тебя виды, – сказал я отцу.

– Боюсь, что да, – согласился он. – Она расхаживает по ночам в белой рубашке, похожей на саван, и мне кажется, что это смерть... У меня есть тут подруга, – продолжал отец, – Фиса, очень милая женщина. Мы после зайдем к ней, я давно хочу вас познакомить.

– Кто она такая?

– Ткачиха. Муж погиб на фронте, остались двое детей, мальчик и девочка. Мальчик необыкновенно туп, в каждом классе сидит по три года. Ему скоро призываться, а он едва перешел в пятый класс. Девочка – живая и довольно способная, но лстивая и хитрая. Она пробовала называть меня папой, но я решительно это пресек.

– Значит, у меня появились сестрица и братец?

– Нет, нет! – с наивной серьезностью успокоил меня отец. – Этого никогда не будет. Фиса – бескорыстный человек, она ничего не требует от меня. Ее очень осуждают за то, что она связалась со стариком и «не пользуется», как выражаются местные «женки». Она действительно очень привязалась ко мне.

– А почему бы тебе не жить у нее? Все лучше, чем в этих «каморках»!

– Видишь ли, тут произошла трагическая история. Фиса жила в доме у одной старухи, ухаживала за ней, кормила, поила, и за это старуха должна была после смерти отказать ей дом. Старуха оказалась на редкость живуча и прожорлива, Фиса совсем с ней замучилась. Наконец старуха умерла, тут было такое счастье! Я купил бутылочку портвейна, Фиса испекла пирог. Как-то недели через три я ночевал у Фисы. Вдруг среди ночи – стук. Вваливаются двое нищих-слепцов, муж и жена, дальние родственники покойной и законные ее наследники. Кто-то из рохомчан позавидовал Фисину счастью, с немалым трудом разыскал этих слепцов и сообщил им о наследстве. У меня чуть сердце не разорвалось от жалости...

– Ну и что было дальше?

– Слепцы переночевали на полу, а утром, когда проснулся, я услышал какой-то щелк: они ловили друг на друге вшей. Это было отвратительно, – хладнокровно заметил отец. – А потом они устроили ревизию имуществу, обнаружили, что прохудилась самоварная труба, и уехали за новой трубой в Пензу.

– В Пензу за трубой?

– Так ведь слепые ездят без билетов, а в поездах подают лучше, чем на улице. Мне кажется, – задумчиво добавил отец, – они не останутся тут надолго, в Рохме ненавидят нищих. Старик целый день простоял у проходной нашей фабрики и не собрал даже на стопку водки.

– Но они могут продать дом!

– Кто его купит? Полуразвалившаяся, гнилая хибара. На худой конец, дело идет о сотне рублей, я помогу Фисе. – Отец улыбнулся: – Приятно на склоне лет стать домовладельцем.

Вернулась хозяйка с четвертинкой водки, бутылкой пива и какой-то закуской. Закрасив водку малиновым сиропцем, она быстро и ловко собрала на стол, а сама стала в углу под образами в почерневших серебряных ризах и, подперев голову кулачком, умильно поглядывала на пирующих «мужичков».

Мне понадобилось выйти. Отец сказал, что уборная находится в конце коридора, налево. Пройдя высокий гулкий коридор, я обнаружил ряд низеньких дверец, до половины застекленных непрозрачным пупырчатым стеклом. Толкнув одну дверцу, я очутился в жилом помещении, теснота стен и вещей, оглушающий шум примуса, крикливая возня детей. Вторая попытка дала тот же результат. Больше я уже не пытался открывать дверцы, достаточно было приблизить ухо к мутному стеклу, чтобы за каждой дверцей обнаружить шум жизни. Я двинулся дальше и оказался в гигантском зале, заставленном огромными, никогда не виданными мною плитами. Настоящая адова кухня! Невозможно было представить, чтобы здесь готовили простые человеческие кушанья. Нет, сам Сатана творит тут свое горячее дело, под-

жаривает грешников на сковородах величиной с рыцарский щит. Но сейчас бездействовали могучие корабельные топки, и плиты стояли холодные, как склепы.

Чувствуя неприятный нервный озноб во всем теле, я быстро пересек кухню, наугад толкнул какую-то дверь и вновь очутился в громадном зале, лишь немного уступающем первому. Пол, стены и потолок, слеplенные из серого, холодного вещества, похожего на бетон, непрерывно сочились омерзительной зеленоватой влагой. Единственно сухой в этом гнилостно потеющем зале была паутина, сверху донизу заткавшая высокое готическое окно. Посреди зала торчал диковинный цветок: два чугунных бутона-унитаза на общем трубчатом стебле. Другой обстановки не было. На одной из стен чья-то рука начертала дерьмом: «Гитлер – пидорас». Надпись находилась под самым потолком, видимо, писавший стоял на плечах товарища. Крупные, корявые буквы рельефно выделялись на серо-зеленоватой слизи стены.

Этот зал с могильной сыростью и холодом, затканым паутиной окном, с чугунным цветком посреди и красноречивой надписью под потолком словно привиделся мне в дурном, болезненном сне. До сегодняшнего дня меня порой охватывает сомнение: да было ли это на самом деле?

Когда я вернулся в комнату, отец, стоя у окна, что-то внимательно высматривал на улице. Из-за его плеча я увидел похоронную процессию. Четверка замороженных кляч, таких худых, что, казалось, они должны колотиться о собственное тело, в грязновато-белых траурных попонах и черных очках, тащила катафалк с гробом. И гроб, и катафалк были перетянуты кумачом, на котором бледно просвечивали буквы каких-то лозунгов. За гробом шли музыканты, тщедушная банда из пяти-шести человек. Издавая короткие, ухающие звуки, тускло сверкал змий геликона, помятый, как после схватки с архангелом Михаилом; четыре трубы поменьше вплетали свою жалобу в его дремучий голос. Порой в сумятице звуков проскальзывали три-четыре такта похоронного марша Шопена. Вслед за музыкантами двое мужчин в темных драповых пальто не уклюже тащили большой жестяной венок, за ними на полкилометра растянулись провожающие. Чем дальше от катафалка, тем нестройнее ряды, безучастнее лица, последними, взявшись под руки, как на демонстрации, шли мордастые девахи.

– Когда я умру, – сказал отец, – пусть меня хоронят без музыки. Это моя единственная, но серьезная просьба. Музыкантов нанимают из оркестра горсада, они то и дело сбиваются на фокстрот. Я не получу никакого удовольствия от своей смерти, если не буду уверен, что их не допустят к моему гробу.

...Бедный отец! Стоило ему подумать о чем-либо плохом, как это плохое непременно сбывалось. Его хоронили с музыкой. Музыкантская команда горсада, сбиваясь с шопенского марша на фокстрот, проводила его в последний путь. Такова была непреклонная воля Фисаньки. Только раз посветила ей в жизни радость недолгой близости с отцом, и она не могла отказать ему в этой чести, да и люди бы ей не простили...

Что-то сломалось во мне в этот приезд. Наша комната была жалкой ячейкой в каменных сотах чудовищного общежития, до отказа набитого нищетой, злобой, грязью, жестокостью. Лишь тонкие, непрочные перегородки отделяли нас от страшных людей, мнущих чугунные унитазы и пишущих дерьмом на стенах. И таким простым казался переход из этой незащищенности на помост катафалка, влекомого полуслепыми клячами. Никогда еще не попадал отец в худшую беду.

Я послал хозяйку купить еще водки. Я вливал в себя водку стакан за стаканом, почти не хмелея, а хозяйка бегала вновь и вновь, счастливая возможностью услужить «мужичку». Откуда-то появилась девчонка с нежным тонким лицом и грязными, наманикюренными ногтями. Девчонка тоже пила водку, брала мою руку и водила по своему лицу. Но так тяжело было на сердце, что я отпустил девчонку ни с чем. А потом, уже в сумерках, я стал плакать. Я плакал долго, не в силах остановиться, до боли в груди и горле. Я плакал из жалости к

отцу и к себе, плакал от бессилия и безнадежности, плакал, впервые поняв, что у меня не станет сил до конца идти путем отца, рано или поздно я сверну с дороги и брошу его. Я словно прощался с ним сейчас, прощался надолго до настоящей разлуки. И отец как будто понимал это: он не пытался меня успокоить, он сидел молча, задумчиво и лишь порой тихо гладил меня по голове.

А на другой день мы пошли к Фисаньке. Я выплакал в себе столько боли, что мне казалось – теперь все будет лучше, светлее, легче. Я заранее готов был принять подругу отца, милую, бескорыстную женщину, да еще «мамино типа».

На краю Рохмы, в рослых лопухах, торчала на покосившейся обомшелой тесовой крыше кирпичная, готовая вот-вот рухнуть труба. Крошечный домишко с кривыми оконницами врос в землю. Со своей непомерно длинной и узкой трубой он напоминал чем-то старый помятый самовар. Вокруг домика развешано мокрое белье, такое запользованное и ветхое, что стирка не могла вернуть ему белизны. Ветер дул в дырявые паруса простыней, они надувались и тут же обмякали с коротким влажным хлопком. Мы вошли в дом, вернее, спустились в него, как в неглубокую яму. В полутемных сенях стояла невыносимая вонь помойного ведра и чего-то скисшего, сопревшего. По контрасту воздух в тесной комнате показался чистым. «Так вот где происходит любовь отца», – думал я, обводя взглядом худую металлическую кровать с горкой серых подушек, стол, накрытый темной засаленной клеенкой, поломанные стулья и какое-то пузатое бесформенное сооружение, бывшее когда-то не то комодом, не то буфетом.

Из-за ситцевой занавески, отгораживающей угол комнаты, появилась подруга отца, сравнительно молодая женщина со светлыми волосами и большим неподвижным лицом. На подбородке у нее был довольно приметный нарост. Кажется, глаза у нее были хороши, но их синий сверк мелькнул на краткий миг и спрятался под большую, упрямую лобную кость. До конца нашего визита я так больше и не увидел Фисанькиных глаз. Впрочем, и лица ее я тоже толком не разглядел. Она прятала все, что только можно спрятать, – глаза, лицо, руки, грудь, ноги, – на обозрение оставались лишь широкие плечи да сутулая натруженная спина. Тщетно силился я отыскать в ней «мамин тип», угаданный отцом. Но все же было, наверное, в ней что-то, отчего она приглянулась отцу, отчего он выбрал ее среди всех, столь схожих с нею подруг. Тут не могло быть ошибки. Верно, таким и становится «мамин тип» под гнетом рохомской жизни, под чудовищным давлением нищеты, полуголода и непосильного труда.

Рохма верна себе во всех звеньях, напрасно тешился я радужными надеждами в это утро. Фисанька не позволила себе ни одного сколько-нибудь симпатичного движения, ни одного доброго слова. Ее редкие, под нос, отрывистые речи в ответ на все любезности отца, желавшего нас подружить, были выдержаны в известном ключе: не замай. Что-то грубо отстраняющее, угрюмое, тупое и затаенное. «Она стесняется», – шепнул мне отец. Я никогда не видел столь неизящной и непривлекательной дикарки. Наконец, после многочисленных робких, хотя и тщетных намеков отца на «самоварчик», мы распрощались с Фисанькой.

– Она ревнует, – сказал отец по дороге домой. – Она боится, что старая семья отнимет меня у нее.

Я честно признался, что Фисанька мне не понравилась.

– Неужели ты не заметил, что она с мамой одного типа? – удивился отец, несколько не обиженный. – Это тип Лили и Эльзы, мне всегда нравились женщины этого типа. – И он принялся вспоминать прошлое.

А вечером, роясь в книгах, наваленных грудой на столе отца, я обнаружил толстую тетрадь в белой обертке. На обертке было написано: «Текстилиада». Тетрадь содержала формулы экономических расчетов, эскизы текстильных машин, диаграммы, цифровые выкладки: отец осваивал новую для него область работы. Я уже хотел отложить тетрадь, как вдруг наткнулся на куда более близкий мне текст. Это было начало литературной ста-

ть, речь шла о познании мира средствами искусства. Я стал читать статью, силясь вспомнить, кому она принадлежит. Формулировки были сжатые, ясные и отточенные. Для «демократической» критики слишком дельно и беспарочно, для Константина Леонтьева слишком современно.

— Знакомишься с моими опытами? — проговорил отец. Уютно устроившись на кровати, он курил, сбрасывая пепел мимо вазочки, заменявшей ему пепельницу. — Я хотел развить тут одну мысль Толстого, по-моему, недостаточно оцененную...

Ужас «каморок», Фисанька, слепцы с самоварной трубой, вся жалкость рохомской жизни не коснулись отца, словно он был заключен в незримую и непроницаемую оболочку. Он жил широко и вольно, не теряя связи ни с чем в большой жизни; лишенный всего, что составляет обиход человека, он ничего не лишился в себе, но не делал из этого позы, и оттого мне, молодому, суетному и слабодушному, так трудно было увидеть настоящую его высоту.

Я долго думал об этом, лежа на жесткой постели с потухшей папиросой в руке. Отец давно уснул, как умер, столь тихим, неслышным было его дыхание, но еще долго огромной летучей мышью металась по комнате хозяйка в сером балахоне, томимая своими беспокойными и тщетными желаниями.

20. В Москве

Прошли годы, странная формула «семь и четыре» наконец-то исчерпала себя. Отцу вернули все права свободного гражданина. Теперь он мог расстаться с Рохмой и переехать в Тейково или Нерль или даже Шую, более крупные города не рекомендовались. Теперь он не должен был каждый месяц являться к районному уполномоченному МГБ, достаточно было приходить раз в три месяца. Теперь он мог проводить свой отпуск, где ему заблагорассудится, конечно, с разрешения того же уполномоченного. Словом, он был свободен как ветер. И опьяненный своей новой свободой, отец собрался в Москву. Ему пришлось трижды перекладывать отпуск: районный уполномоченный, не решаясь взять на себя ответственность, запрашивал область, а та, в свою очередь, сносилась с Москвой. Наконец весной 1948 года разрешение было получено, и в один из солнечных майских дней отец постучался в дверь нашей квартиры.

Мы его ждали. Мама сменила неизменный халат на юбку и кофту, причесалась и даже подтянула чулки, Дашура побрилась и надела чистый фартук. Лицо у нее было заплаканным, но не от растроганности. Я попросил испечь лепешку, как в доброе старое время, а Дашура по дряхлости забыла рецепт, за что ей жестоко досталось от мамы.

Дашура открыла дверь, поздоровалась с отцом и вышмыгнула на лестницу, чтобы забрать его чемодан.

– Ну, здравствуй, – сказала мама, подходя к отцу.

– Здравствуй, Катенька.

Они поцеловались, грустно и спокойно, старые люди, у которых все осталось позади, в такой дальней дали, что и вспоминать о прошлом ни к чему, да и не хочется. И оба замолчали.

Людам, встречающимся каждый день, всегда есть о чем говорить, для них важны и увлекательны все мелочи, вся суэта повседневности; людям, не видевшимся десятилетие, говорить не о чем. Маленькое ушло, а главное ясно и без слов: оно запечатлено в морщинах, в седине волос, в собачьей кротости глаз. Встреча после очень долгой разлуки – все равно что новое знакомство, а они были не в том возрасте и слишком устали, чтобы заводить новых знакомых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.